

## КНИГА I

Все выходит хорошим из рук Творца, все вырождается в руках человека. Он принуждает одну почву питать растения, возвращенные на другой, одно дерево приносить плоды, свойственные другому. Он перемешивает и путает климаты, стихии, времена года. Он уродует свою собаку, свою лошадь, своего раба. Он все перевертывает, все искажает, любит безобразия, чудовищное. Он ничего не хочет видеть таким, как создала природа, — не исключая и человека: и человека ему нужно выдрессировать, как лошадь для манежа, нужно переделать на свой лад, как он окорнал дерево в своем саду.

Без этого все шло бы еще хуже, а наша порода не хочет получать отделку лишь наполовину. При порядке вещей, отныне сложившемся, человек, предоставленный с самого рождения самому себе, был бы из всех самым уродливым. Предрассудки, авторитет, необходимость, пример, все общественные учреждения, совершенно подчинившие нас, заглушали бы в нем природу и ничего не давали взамен ее. Она была бы подобна деревцу, которое случайно выросло среди дороги и которое скоро погубят прохожие, задевая его со всех сторон и изгибая во всех направлениях.

К тебе обращаюсь я, нежная и предусмотрительная мать \*.

\* Первоначальное воспитание важнее всего, и это первоначальное воспитание бесспорно принадлежит женщинам. Если бы Творец природы хотел, чтобы оно принадлежало мужчинам, он наделил бы их молоком для кормления детей. Поэтому в наших трактатах о воспитании всегда обращайтесь речь по преимуществу к женщинам; ибо, кроме того, что им сподручнее, чем мужчинам, заботиться о воспитании и они всегда сильнее на него влияют, самый успех дела их заинтересовывает гораздо больше, так как стоит им овдоветь, и они чуть не попадают под власть своих детей, и тогда последние дают им сильно чувствовать последствия — хорошие

сумевшая уклониться от такой дороги и предохранить подрастающее деревце от столкновений с людскими мнениями! Ухаживай, поливай молодое растение, пока оно не увяло, — плоды его будут некогда твоей усладой. Строй с ранних пор ограду вокруг души твоего дитяти; окружность может наметить иной, но ты одна должна ставить решетку на ней\*.

Растениям дают определенный вид посредством обработки, а людям — посредством воспитания. Если бы человек родился рослым и сильным, его рост и силы были бы для него бесполезны до тех пор, пока он не научился бы пользоваться ими; мало того: они были бы вредны ему, так как устраняли бы для других повод помогать ему\*\*, а предоставленный самому себе, он умер бы от нищеты прежде, чем узнали бы о его нуждах. Жалуются на положение детства, а не видят, что человеческая раса погибла бы, если бы человек не являлся в мир прежде всего ребенком. Мы рождаемся слабыми — нам нужна сила; мы рождаемся всего лишенными — нам нужна помощь; мы рождаемся бессмысленными — нам нужен рассудок. Все, чего мы не имеем при рождении и без чего мы не можем обойтись, ставши взрослыми, дается нам воспитанием.

или дурные — употребленного ими способа воспитания. Законы, которые всегда столь много заняты имуществом и столь мало личностью, так как они имеют целью спокойствие, а не добродетель, не дают матерям достаточной власти. Меж тем их положение вернее положения отцов, обязанности их тяжелее, заботы нужнее для порядочности семьи, и, вообще, у них больше привязанности к детям. Есть случаи, когда сына, не питающего почтения к отцу, можно некоторым образом извинить; но если бы в каком бы то ни было случае сын был настолько испорченным, что не почитал бы свою мать — мать, которая носила его в своем лоне, кормила его своим молоком, которая целые годы забывала самое себя, чтобы заниматься исключительно им, — такую жалкую тварь следовало бы задушить скорее, как чудовище, недостойное смотреть на свет божий. «Матери, — говорят, — балуют детей своих». Это, без сомнения, их вина; но они, быть может, менее виноваты, чем вы, которые развращаете детей. Мать хочет, чтобы ее дитя было счастливым, чтобы оно было таким с этой вот самой минуты. В этом она права. Если же она обманывается в средствах, ее нужно просветить. Честолюбие, корыстолюбие, тирания, ложная предусмотрительность отцов, равно как их небрежность, жестокая бесчувственность, во сто раз губительнее для детей, чем слепая нежность матери. Впрочем, надо выяснить смысл, который я придаю слову «мать», что и будет сделано ниже.

\* Меня уверяют, будто г. Формей<sup>1</sup> думает, что я имел здесь в виду свою мать, и будто он говорит это в каком-то сочинении. Уверять в этом — значит насмеяться жестоко над Формеем или надо мной.

\*\* Будучи подобен им во внешности и лишенный как слова, так и идей, им выражаемых, он был бы не в состоянии дать им понять, что он нуждается в их помощи, и ничто в нем не обнаруживало бы этой нужды.

Воспитание это дается нам или природою, или людьми, или вещами. Внутреннее развитие наших способностей и наших органов есть воспитание, получаемое от природы; обучение тому, как пользоваться этим развитием, есть воспитание со стороны людей; а приобретение нами собственного опыта относительно предметов, дающих нам восприятие, есть воспитание со стороны вещей.

Каждый из нас, следовательно, есть результат работы троякого рода учителей <sup>2</sup>. Ученик, в котором эти различные уроки противоречат друг другу, дурно воспитан и никогда не будет в ладу с самим собою; в ком они все попадают в одни и те же пункты и стремятся к одним и тем же задачам, тот только и идет к своей цели, и живет правильно. Он один хорошо воспитан.

Меж тем из этих трех различных видов воспитания воспитание со стороны природы вовсе не зависит от нас, а воспитание со стороны вещей зависит лишь в некоторых отношениях. Таким образом, воспитание со стороны людей — вот единственное, в котором мы сами — господа; да и тут мы только самозванные господа, ибо кто может надеяться всецело управлять речами и действиями всех тех людей, которые окружают ребенка?

Коль скоро, таким образом, воспитание есть искусство, то почти невозможно, чтоб оно было успешным, потому что совпадение вещей, необходимое для его успешности, не зависит от человека. Все, что можно сделать с помощью забот, — это более или менее приблизиться к цели, но, чтобы достигнуть ее, для этого нужно счастье.

Какова же эта цель? Это — та самая, которую имеет природа, как только что доказано. Так как для совершенствования воспитания необходимо взаимное содействие трех его видов, то два другие вида следует направлять согласно с тем, над которым мы не властны. Но, может быть, это слово «природа» имеет слишком неопределенный смысл; попробуем здесь точнее установить его.

Природа, говорят нам, есть не что иное, как привычка \*. Но что это означает? Разве нет привычек, которые приобретаются только пассивно и которые никогда не заглушают природы? Такова, например, привычка растений, которым мешают расти прямо. Оставленное на свободе, растение сохраняет наклон, который его принудили принять; но соки не изменили из-за этого своего первоначаль-

\* Формей уверяет нас, что этого именно никто не говорит. Однако, мне кажется, что как раз это самое и сказано в следующем стихе, на который я намеревался отвечать:

Природа, поверь мне, та же привычка<sup>3</sup>.

Формей, который не хочет делать надменными подобных себе, скромно выдает нам мерку своего мозга за меру человеческого разума.

ного направления, и если растение не перестает расти, то продолжение его делается снова вертикальным. То же самое бывает и с наклонностями человека. Пока мы остаемся в одном и том же состоянии, мы можем сохранять те наклонности, которые являются результатом привычки, даже если они менее всего нам естественны; но лишь только положение изменяется, привычка исчезает, и возвращается природное. Воспитание, несомненно, есть не что иное, как привычка. Меж тем, разве нет людей, которые забывают и утрачивают полученное воспитанием, и других, которые сохраняют все это? Откуда эта разница? Если название природы давать только привычкам, сообразным с природою, то можно было бы избавить себя от подобной галиматьи.

Мы родимся чувственно восприимчивыми и с самого рождения получаем различными способами впечатления от предметов, нас окружающих. Лишь только мы начинаем сознавать, так сказать, наши ощущения, у нас является расположение или искать вновь, или избегать предметов, производящих эти ощущения, — сначала смотря по тому, насколько приятны нам последствия или неприятны, затем смотря по сходству или несходству, которое мы находим между нами и этими предметами, и, наконец, смотря по суждениям, которые мы о них составляем на основании идеи счастья или совершенства, порождаемой в нас разумом. Эти расположения расширяются и укрепляются по мере того, как мы становимся восприимчивее и просвещеннее; но под давлением наших привычек они более или менее изменяются в зависимости от наших мнений. До этого изменения они и суть то, что я называю в нас природою.

Итак, к этим первоначальным расположениям все и нужно было бы сводить, и это было бы возможно, если бы три наших вида воспитания были только различны; но что делать, когда они противоположны, — когда вместо того, чтобы воспитывать человека для него самого, хотят воспитывать его для других? Тут согласие невозможно. Под давлением необходимости бороться или с природою, или с общественными учреждениями приходится выбирать одно из двух — создавать или человека, или гражданина, ибо нельзя создавать одновременно того и другого.

Всякое частное общество, раз оно бывает тесным и хорошо сплоченным, отчуждается от общества в обширном смысле слова. Всякий патриот суров к иноземцам: они для него — только люди вообще, они — ничто в его глазах \*. Это неудобство неизбежно, но оно не так уже важно. Важнее всего быть добрым к людям, с которыми

\* Поэтому-то войны республик более жестоки, чем войны монархий.

живешь. Вне дома спартиат был честолюбив, жаден, несправедлив, но в стенах его дома царствовали бескорыстие, справедливость, согласие. Не верьте тем космополитам, которые в своих книгах идут искать вдали обязанностей, пренебрегаемых ими вокруг себя. Иной философ любит театр, чтоб быть избавленным от любви к своим соседям.

Человек естественный — весь для себя; он — численная единица, абсолютное целое, имеющее отношение лишь к самому себе или к себе подобному. Человек-гражданин — это лишь дробная единица, зависящая от знаменателя, значение которой заключается в ее отношении к целому — к общественному организму. Хорошие общественные учреждения — это те, которые лучше всего умеют изменить природу человека, отнять у него абсолютное существование, чтобы дать ему относительное, умеют перенести его я в общую единицу, так как каждый частный человек считает себя уже не единым, частью единицы и чувствует только в своем целом. Гражданин Рима не был ни Гаем, ни Луцием: это был римлянин; даже отечество он любил ради отечества. Регул считал себя карфагенянином, поскольку он стал имуществом своих господ. В качестве иностранца он отказывался заседать в римском сенате: требовалось, чтоб карфагенянин дал ему на этот счет приказание. Он негодовал на то, что ему хотели спасти жизнь. Он победил и торжествующим вернулся умирать среди мучений <sup>4</sup>. Все это мало, мне кажется, напоминает людей, которых мы знаем.

Лакедемонянин Педарет являлся, чтобы получить доступ в совет трехсот; его отвергли, и он возвращается домой, весьма радуясь, что в Спарте нашлось триста человек, дороже стоящих, чем он <sup>5</sup>. Я предполагаю, что это выражение радости было искренним: есть основания думать, что оно было таковым. Вот гражданин!

Одна спартанка отпустила в армию пять сыновей и ждала известий с поля битвы. Является илот: с трепетом она спрашивает, что нового. «Твои пять сыновей убиты!» — «Презренный раб! Разве я тебя об этом спрашивала?» — «Мы победили!» Мать бежит к храму и воздает благодарение богам. Вот гражданка! <sup>6</sup>

Кто при гражданском строе хочет сохранить первенство за природным чувствованием, тот сам не знает, чего хочет. Будучи всегда в противоречии с самим собою, вечно колеблясь между своими склонностями и своими обязанностями, он никогда не будет ни человеком, ни гражданином; он не будет пригоден ни для себя, ни для других. Он будет одним из людей нашего времени — будет французом, англичанином, буржуа, — он будет ничем.

Чтобы быть чем-нибудь, чтобы быть самим собою и всегда еди-

ным, нужно действовать, как говоришь, нужно всегда быть готовым на решение, которое должно принять, нужно принимать его смело и следовать ему постоянно. Я жду, пока мне покажут это чудо, чтобы знать, человек ли это или гражданин или как он берется быть одновременно тем и другим.

Из этих неизменно противоположных целей вытекают два противоречащие друг другу вида воспитания: одно — общественное и общее, другое — частное и домашнее.

Хотите получить понятие о воспитании общественном — читайте «Государство» Платона. Это вовсе не политическое сочинение, как думают те, кто судит о книгах только по заглавиям, — это прекраснейший, какой только был когда составлен, трактат о воспитании<sup>7</sup>.

Когда желают сослаться на область химер, то указывают на воспитание у Платона; но если бы Ликург<sup>8</sup> представил нам свое воспитание только в описании, я находил бы его гораздо более химеричным. Платон заставляет лишь очищать сердце человека; Ликург изменил природу его.

Общественного воспитания уже не существует и не может существовать, потому что, где нет отечества, там не может уже быть и граждан. Эти два слова — «отечество» и «гражданин» — должны быть вычеркнуты из новейших языков. Я хорошо знаю и основание для этого, но не хочу о нем говорить: это не важно для моего сюжета.

Я не вижу общественного воспитания в тех смешных заведениях, которые зовут коллежами\*. Я не принимаю в расчет также светского воспитания, потому что это воспитание, стремясь к двум противоречивым целям, не достигает ни одной из них: оно способно производить лишь людей двуличных, показывающих всегда вид, что они все делают для других, а на деле всегда думающих только о себе. А так как эти изъявления общи для всего «света», то они никого не вводят в обман. Вот сколько забот тратится даром!

Из этих противоречий рождается то, которое мы беспрестанно испытываем сами на себе. Увлекаемые природой и людьми на совершенно разные дороги, вынужденные делить себя между этими различными побуждениями, мы следуем среднему направлению, которое не ведет нас ни к той, ни к другой цели. Проведши всю

\* Есть в Академии Женевы и особенно в парижском университете профессора, которых я люблю и очень уважаю и которых считаю очень способными хорошо наставлять молодежь, если бы они не были вынуждены следовать установившейся практике. Я убеждаю одного из них опубликовать проект реформ, им задуманный. Может быть, попытаются, наконец, искоренить зло, видя, что против него есть средства.

свою жизнь в подобной борьбе и колебаниях, мы заканчиваем ее, не сумевши согласовать себя с самим собою и не ставши годным ни для себя, ни для других.

Остается, наконец, воспитание домашнее или воспитание со стороны природы; но чем будет для других человек, воспитанный исключительно для себя? Если можно было двойную цель, которую ставят перед собою, соединить в одно, то, уничтожая в человеке противоречия, мы, может быть, уничтожили бы великое препятствие на его пути к счастью. Чтобы судить об этом, нужно было бы видеть человека вполне сформированным, нужно было бы подметить его склонности, увидеть его успехи, проследить ход развития; одним словом, нужно было бы разузнать человека естественного. Думаю, что, кто прочтет это сочинение, тот сделает некоторые шаги в этих изысканиях.

Что нам следует делать, чтобы создать этого редкого человека? Много, несомненно: следует позаботиться, чтобы ничего не было деланного. Когда приходится плыть против ветра, то лавируют; но если море бурно и если хотят оставаться на месте, то следует бросить якорь. Берегись, молодой кормчий, чтобы канат твой не стал травиться или не стал бы тащиться якорь, чтобы судно не отчалило прежде, чем ты это заметишь.

В общественном строе, где все места намечены, каждый должен быть воспитан для своего места. Если отдельный человек, сформированный для своего места, уходит с него, то он ни на что уже не годен. Воспитание полезно лишь настолько, насколько судьба согласуется с званием родителей; во всяком другом случае оно вредно для воспитанника уже по тем предрассудкам, которыми оно наделяет его. В Египте, где сын обязан был принять звание отца своего, воспитание имело, по крайней мере, верную цель; но у нас, где только классы остаются, а люди в них беспрестанно перемещаются, никто, воспитывая сына для своего класса, не знает, не трудится ли он во вред ему.

В естественном строе, так как люди все равны, то общее звание их — быть человеком; кто хорошо воспитан для своего звания, тот не может быть дурным исполнителем и в тех же званиях, которые связаны с этим. Пусть предназначают моего воспитанника к тому, чтобы носить саблю, служить церкви, быть адвокатом, — мне все равно. Прежде звания родителей природа зовет его к человеческой жизни. Жить — вот ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих рук, он не будет — соглашаюсь в этом — ни судьей, ни солдатом, ни священником: он будет прежде всего человеком; всем, чем должен быть человек, он сумеет быть, в случае надобности, так же

хорошо, как и всякий другой, и, как бы судьба ни перемещала его с места на место, он всегда будет на своем месте.

«Occupavi te fortuna! atque cepi: omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me aspirare non posses» \* 9.

Изучение человеческого состояния есть наша истинная наука. Кто умеет лучше всех выносить блага и бедствия этой жизни, тот из нас, по-моему, и воспитан лучше всех; отсюда следует, что истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях. Научаться мы начинаем, начиная жить; наше воспитание начинается вместе с нами; первый наш наставник — наша кормилица. И самое слово «воспитание» указывает на «питание». «Educat obstetrix. — говорит Варрон, — educat nutrix, instituit pedagogus, docet magister» \*\*10. Таким образом, воспитание (в первоначальном смысле слова), наставление и образование суть три столь же различные по своей цели вещи, как мы различаем няньку, наставника и учителя. Но эти отличия дурно поняты; и чтобы быть хорошо руководимым, ребенок должен следовать за одним всего руководителем.

Итак, следует обобщить наши взгляды и видеть в нашем воспитаннике человека вообще — человека, подверженного всем случайностям человеческой жизни. Если бы люди родились привязанными к почве своей страны, если бы целый год продолжалось одно и то же время года, если бы каждый крепко был связан со своим состоянием, что никогда не мог его переменить, то установившаяся практика была бы пригодна в некоторых отношениях; ребенок, воспитанный для своего положения, никогда не выходя из него, не мог бы и подвергнуться случайностям другого положения. Но при виде изменчивости человеческих дел, но при виде того беспокойного и подвижного духа нашего века, который с каждым поколением все перевертывает, можно ли придумать что-либо безрассуднее этого метода — так воспитывать ребенка, как будто бы ему не предстоит никогда выходить из своей комнаты, как будто он должен быть беспрестанно окруженным «своими людьми»? Если несчастный ступит хоть шаг по земле, если спустится хоть на ступень, — он пропал. Это не значит учить его выносить бедствия: это значит развивать восприимчивость к ним.

Думают только о том, как бы уберечь своего ребенка; этого недостаточно: нужно научить, чтобы он умел сохранять себя, когда станет взрослым, выносить удары рока, презирать избыток и нищету, жить, если придется, во льдах Исландии или на раскаленном утесе

\* [Цицерон]. Тускуланские беседы, V. 9.

\*\* Юний Марцелл. [Лексикон].

Мальты <sup>11</sup>. Каких бы вы ни предпринимали предосторожностей, чтобы он не умер, ему придется все-таки умереть, и, если смерть его не была бы результатом ваших забот, последние были все-таки превратно направленными. Все дело не в том, чтобы помешать ему умереть, а в том, чтобы заставить его жить. А жить — это не значит дышать: это значит действовать, это значит пользоваться нашими органами, чувствами, способностями, всеми частями нашего существа, дающими нам сознание нашего бытия. Не тот человек больше всего жил, который может насчитать больше лет, а тот, кто больше всего чувствовал жизнь. Иного хоронят столетним старцем, а он умер в самом рождении. Ему выгоднее было сойти в могилу юношей, если бы он дожил хоть до юности.

Вся наша мудрость состоит в рабских предрассудках; все наши обычаи — не что иное, как подчинение, стеснение, принуждение. Человек-гражданин рождается, живет и умирает в рабстве: при рождении его затягивают в свивальник, по смерти заколачивают в гроб; а пока он сохраняет человеческий образ, он скован нашими учреждениями.

Говорят, что многие повивальные бабки выправляют голову новорожденных детей, что придают ей более соответственную форму, — и это терпится! Наши головы, видите ли, дурно устроены Творцом нашего бытия: их приходится переделывать извне повивальным бабкам, изнутри философам. Каробы наполовину счастливее нас.

«Едва ребенок вышел из чрева матери, едва получил свободу двигать и расправлять свои члены, как на него налагают новые узы. Его спеленывают, укладывают с неподвижною головою, с вытянутыми ногами, с уложенными вдоль тела руками: он завернут во всякого рода пеленки и перевязки, которые не позволяют ему изменить положение. Счастье его, если он не стянут до того, что нельзя дышать, и если догадались положить его на бок, чтобы мокроты, которые должны выходить ртом, могли стекать сами собою: иначе он не имел бы возможности повернуть голову на бок, чтобы способствовать их стоку» \*.

Новорожденный ребенок имеет потребность протягивать и двигать свои члены, чтобы вывести их из онемения, в котором они так долго оставались, будучи собранными в клубок. Их, правда, вытягивают, но зато мешают им двигаться; даже голову закутывают в чепчик: подумаешь, люди боятся, как бы ребенок не подал признака жизни.

Таким образом, импульс внутренних частей тела, стремящегося

\* [Бюффон]. Естественная история, т. IV<sup>12</sup>.

к росту, встречает непреодолимое препятствие для потребных ему движений. Дитя непрерывно делает бесполезные усилия, которые истощают его силы или замедляют их развитие. В сорочке <sup>13</sup> он был менее сжат, менее стеснен, менее сдавлен, чем теперь в пеленках; я не вижу, что он выиграл своим рождением.

Бездействие, принужденное состояние, в котором держат члены ребенка, только стесняет обращение крови и соков, мешает ребенку крепнуть и расти и уродует его телосложение. В местностях, где не принимают этих сумасбродных предосторожностей, люди все рослы, сильны, хорошо сложены \*. Страны, где закутывают детей в пеленки, кишат горбатыми, хромыми, косолапыми, кривоногими, рахитиками, людьми, изуродованными на все лады. Из боязни, чтобы тело не обезобразилось от свободных движений, спешат обезобразить его укладыванием в тиски. Ребенка охотно сделали бы паралитиком, чтобы помешать ему стать уродливым. Столь жестокое принуждение может ли остаться без влияния на нрав и темперамент детей? Их первое чувство — чувство боли и муки: все движения, в которых они имеют потребность, встречают одно препятствие; будучи более несчастными, чем преступник в оковах, они делают тщетные усилия, раздражаются, кричат. Вы говорите, что первые звуки, ими издаваемые, — это плач? Охотно верю: вы досаждаете им с самого рождения; первыми дарами, которые они получают от вас, бывают цепи; первыми приемами обращения с ними оказываются мучения. Если они ничего не имеют свободным, кроме голоса, как же не пользоваться им для жалоб? Они кричат от страдания, которое вы им причиняете; если бы вас так спутали, вы кричали бы громче их.

Откуда идет этот безрассудный обычай? От противной природе привычки. С тех пор как матери, пренебрегая своею первою обязанностью, не захотели больше кормить детей своих, пришлось доверять их наемным женщинам; а последние, очутившись таким образом матерями чужих детей, к которым природа не внушала им никакого чувства, старались лишь о том, чтобы избавить себя от труда. За ребенком, оставленным на свободе, нужен был бы беспрепятственный надзор; но когда он крепко связан, его бросают в угол, не смущаясь его криками. Лишь бы не было доказательств небрежности кормилицы, лишь бы питомец не сломал руки или ноги, а то какая, в самом деле, важность, что он погибнет или останется хилым на всю жизнь? Члены сохранены за счет тела — и кормилица права, чтобы там ни случилось.

---

\* См. примечание \*\*\* на с. [ 55 кв. I ].

Знают ли эти милые матери, которые, развязавшись со своими детьми, весело предаются городским развлечениям, знают ли они меж тем, какому обращению подвергается дитя, оставшееся в деревне, в своем свивальнике? При малейшем крике, неожиданно раздавшемся, его вешают на гвоздь, как узел с платьем, и, пока кормилица не спеша займется своими делами, несчастный остается, таким образом, пригвожденным. Когда ребенка заставляли в подобном положении, всегда оказывалось, что у него лицо посинело: так как сильно сжатая грудь не позволяла крови циркулировать, то последняя ударяла в голову, и пациента считали совершенно спокойным, потому что он не имел силы кричать. Не знаю, сколько часов ребенок может оставаться в этом положении, не лишаясь жизни, но сомневаюсь, чтобы это могло тянуться очень долго. Вот, по-моему, одно из важнейших неудобств пеленания.

Полагают, что дети, оставленные на свободе, могут принимать неловкое положение и делать движения, способные повредить правильному развитию членов. Но это одно из пустых умствований нашей ложной мудрости, которое ни разу не подтверждалось на опыте. Из всего множества детей, которые у народов, более рассудительных, чем мы, вскормлены были при полной свободе пользоваться своими членами, не видно было ни одного ребенка, который ранил бы себя или искалечил: дети не в состоянии придать своим движениям такую силу, которая может сделать последние опасными, а когда они принимают насильственное положение, боль скоро дает им знать, что его следует переменить.

Мы не додумались еще пеленать щенят или котят, а заметно ли, чтобы результатом этой небрежности было для них какое-нибудь неудобство? «Дети тяжелее» — ладно! Но они, соразмерно с этим, зато и слабее. Они едва в состоянии двигаться, как же они могли изувечить себя? Если ребенка растянуть навзничь, он умер бы в этом положении, как черепаха, не будучи в состоянии повернуться.

Не довольствуясь тем, что перестали кормить своих детей, женщины не хотят и рожать их; следствие вполне естественное. Как только положение женщины-матери делается обременительным, скоро находят средство совсем от него избавиться: хотят, чтобы работа оставалась бесполезною — для того чтобы постоянно начинать ее сызнова, и приманку, данную для умножения природы, обращают во вред последней. Привычка эта, в дополнение к другим причинам уменьшения населения, возвещает нам о ближайшей участи Европы. Науки, искусства, философия и нравы, ею порожаемые, не замедлят сделать из Европы пустыню. Она будет обитаема дикими зверями, и это будет небольшая перемена в жителях.

Я видел не раз мелкие уловки молодых женщин, которые прикидываются желающими кормить детей своих. Они умеют так устроить, чтоб их поторопили отказаться от этой прихоти: они ловко впутывают в дело супругов, врачей, особенно матерей. Муж, осмелившийся согласиться, чтоб его жена кормила своего ребенка, был бы пропащим человеком, его принимали бы за убийцу, который хочет отделаться от жены. Благоразумные мужья, вам приходится в жертву миру приносить отцовскую любовь. Счастье ваше, что в деревне есть женщины более целомудренные, чем ваши жены! Еще больше ваше счастье, если время, выигрываемое последними, не предназначено для других, помимо вас.

Обязанность женщин не возбуждает сомнений; но спорят о том, не все ли равно для детей, при том презрении, которое питают к ним матери, материнским ли молоком они вскормлены или чужим. Этот вопрос, судьями в котором являются врачи, я считаю решенным по желанию женщин \*; лично я тоже думал бы, что ребенку лучше сосать молоко здоровой кормилицы, чем нездоровой матери, если приходится бояться какой-нибудь новой беды от той же самой крови, из которой он создан.

Но разве вопрос должен рассматриваться только с физической стороны и разве ребенок менее нуждается в заботах матери, чем в ее груди? Другие женщины, даже животные, могут дать ему молоко, в котором отказывает мать; но материнская заботливость не восполняется ничем. Женщина, которая вместо своего кормит чужого ребенка, — дурная мать; как же она будет хорошей кормилицей? Она могла бы ею сделаться, но только постепенно: для этого нужно, чтоб привычка изменила природу; ребенок вследствие дурного ухода сто раз успеет погибнуть, прежде чем кормилица почувствует к нему материнскую нежность.

Из этой самой выгоды вытекает и неудобство, которое одно должно было бы лишить всякую чувствительную женщину решимости отдавать своего ребенка на кормление другой, — я говорю о необходимости разделять с последнею право матери или, скорее, уступать это право, видеть, как ее ребенка любит другая женщина, столько же и даже больше, чем мать, чувствовать, что нежность, которую он сохраняет к своей собственной матери, есть милость, а его нежность к подставной матери есть долг; ибо не к тому ли я обязан пи-

\* Союз женщин и врачей всегда казался мне одной из самых забавных особенностей Парижа. Через женщин именно врачи приобретают свою репутацию, а через врачей женщины исполняют свои прихоти. Отсюда легко догадаться, какого сорта искусство нужно парижскому врачу, чтобы стать знаменитым.

тать сыновнюю обязанность, в ком встретил материнские заботы?

Чтобы поправить эту беду, внушают детям презрение к своим кормилицам, обращаясь с ними как с настоящими служанками. Когда служба их кончилась, удаляют ребенка или увольняют кормилицу; затем дурным приемом отбивают у ней охоту навещать своего питомца. Через несколько лет он уже не видит и не знает ее. Мать, думающая заменить ее собою и искупить свое невнимание своею жестокостью, ошибается. Вместо того чтоб из бесчувственного питомца сделать нежного сына, она учит его неблагодарности; она учит его презирать со временем и ту, которая дала ему жизнь, как он презирает вскормившую его своим молоком.

Как упорно я настаивал бы на этом пункте, если бы не было таким скучным делом — тщетно твердить о полезных вещах! Этот вопрос глубже, чем думают. Хотите каждого вернуть к своим первейшим обязанностям — начинайте с матерей: вы будете изумлены переменами, которые произведете. Все вытекает постепенно из этой основной распущенности: весь нравственный строй изменяется к худшему; естественное потухает в сердцах; внутренность жилищ принимает менее оживленный вид; трогательное зрелище зарождающейся семьи не привлекает уже мужей, не внушает уважения посторонним; уже не так почитают мать, не видя при ней детей; семья не имеет постоянного местожительства; привычка не скрепляет уз крови; нет ни отцов, ни матерей, ни детей, ни братьев, ни сестер; все едва знакомо друг с другом — как они после этого будут друг друга любить? Каждый думает лишь о себе. Когда дом есть только печальная пустыня, повеселиться приходится идти в другое место.

Но пусть только матери соблаговолят кормить детей своих, нравы преобразуются сами собою, природные чувства проснутся во всех сердцах, государство снова станет заселяться; этот первый шаг — этот шаг один вновь все соединит. Прелесть домашней жизни — лучшее противоядие дурным нравам. Возня детей, которую считают докучливой, становится приятной; она делает отца и мать более необходимыми, более дорогими друг другу; она крепче завязывает между ними супружескую связь. Когда семья оживлена и одушевлена, домашние заботы составляют самое дорогое занятие жены и самое сладкое развлечение мужа. Таким образом, исправление одного этого злоупотребления скоро даст в результате всеобщую реформу, и природа скоро вступит в свои права. Пусть только женщины снова станут матерями — и мужчины скоро станут опять отцами и мужьями.

Бесполезные речи! Даже скука светских удовольствий никогда не доводит до таких речей. Женщины перестали быть матерями;

они не хотят ими быть. Если бы они захотели, они едва ли бы были в состоянии; теперь, когда установленный этому обычай, каждой из них пришлось бы бороться с оппозицией всех знакомых, которые составят против нее заговор, — одни потому, что не сами подали пример, другие потому, что не хотят ему следовать.

Впрочем, есть еще кое-где молодые женщины доброго нрава, которые осмеливаются презирать в этом вопросе господство моды и ропот представительниц своего пола и с добровольною отвагою выполняют этот столь приятный долг, налагаемый на них природою. Дай Бог, чтоб привлекательность благ, ожидающих тех, кто исполняет его, увеличивала число этих женщин! Основываясь на выводах, получаемых из самого простого рассуждения, и на наблюдениях, опровержения которых я никогда не встречал, я смело обещаю этим достойным матерям прочную и постоянную привязанность со стороны их мужей, истинно сыновнюю нежность со стороны детей, уважение и почтение общества, удачные роды, без случайностей и без дурных последствий, прочное и крепкое здоровье, наконец, удовольствие видеть некогда, как им подражают собственные дочери и как их ставят в пример чужим дочерям.

Нет матери, нет и дитя. Между ними взаимные обязанности; и если они дурно выполняются одною стороною, то и другая станет ими пренебрегать. Дитя должно любить свою мать прежде, чем будет знать, что должно ее любить. Если голос крови не подкреплён привычкою и заботами, то он затихнет в первые же годы, и сердце умирает, так сказать, прежде, чем родится. Таким образом, мы с первых же шагов разошлись с природою.

С нею расходятся и противоположным путем, когда женщина не только не пренебрегает материнскими заботами, но доводит их до крайности, когда делает из ребенка своего идола, увеличивает и поддерживает его слабость, чтоб не дать ему чувствовать ее, когда, надеясь изъять его из-под законов природы, охраняет его от тяжелых впечатлений, не помышляя о том, сколько тяжелых впечатлений и опасностей взваливает на его голову в будущем, взамен некоторых неудобств, от которых предохраняет его на минуту, и сколь варварскою является эта предосторожность — продление детской слабости до трудовой поры зрелого возраста. Фетида, чтобы сделать своего сына неуязвимым, погрузила его, как рассказывает миф, в воды Стикса<sup>14</sup>. Аллегория эта прекрасна и ясна. Жестокие матери, о которых я говорю, поступают иначе: погружая детей своих в негу, они подготавливают их к страданию; они открывают их поры для восприятия всякого рода болезней, жертвою которых они непременно и станут, сделавшись взрослыми.

Наблюдайте природу и следуйте по пути, который она вам прокладывает. Она непрерывно упражняет детей; она закаляет их темперамент всякого рода испытаниями; она с ранних пор учит их, что такое труд и боль. Прорезывание зубов причиняет им лихорадку; острые колики доводят их до конвульсий; продолжительные кашли душат их; глисты мучат; полнокровие портит у них кровь; различные кислоты приходят в брожение и причиняют им опасные сыпи. Почти весь ранний возраст полон болезнями и опасностями; половина рождающихся детей умирает до восьмого года. Но вот испытания кончились, и ребёнок приобрел силы; а коль скоро он в состоянии пользоваться жизнью, основа последней делается более прочной.

Вот правила природы. Зачем вы ей противоречите? Разве вы не видите, что, думая исправлять ее, вы только разрушаете ее работу и тормозите ее заботы? Делать извне, что она делает изнутри, по-вашему, значит удваивать опасность; совершенно нет: это значит отклонять ее, уменьшать. Опыт показывает, что детей, получивших изнеженное воспитание, умирает больше других. Лишь бы не превышать меру детских сил, а то, употребляя их в дело, меньше рискуешь, чем щадя их. Приучайте детей к невзгодам, которые им придется со временем выносить. Приучайте тело их к суровости времен года, климатов, стихий, к голоду, жажде, усталости: окунайте их в воды Стикса. Пока тело не приобрело привычки, его без опасности можно приучить к чему хочешь; но раз оно в полном развитии, всякая перемена становится для него губительной. Дитя вынесет изменения, которые не вынес бы взрослый: его фибры, мягкие и гибкие, без усилия принимают склад, который дают им; фибры же взрослого, более затвердевшие, уже только насильственно могут изменить полученный раньше склад. Ребенка можно, значит, сделать крепким, не подвергая опасности его жизнь и здоровье. А если бы и был какой риск, все-таки не следовало колебаться. Так как это риск, неразлучный с человеческой жизнью, то не лучше ли всего будет перенести его на то время жизни, когда он менее всего убыточен?

Подрастая, ребенок делается драгоценнее. К цене его личности присоединяется цена забот, которых он стоил; к потере жизни, если он умирает, присоединяется чувство утраты. Таким образом, в заботах об его сохранении нужно иметь в виду преимущественно будущее; против опасностей юности нужно его вооружить прежде, чем он достигнет ее; ибо если цена человеческой жизни все увеличивается до того самого возраста, когда жизнь можно сделать полезной, то не безумно ли избавлять детство от немногих зол путём накопления их к разумному возрасту? Это ли уроки учителя?

Участь человека — страдать во все времена. Даже самая забота о самосохранении связана со скорбью. Счастливо детство, что знает только боли физические, которые не так жестоки, гораздо менее болезненны и гораздо реже заставляют нас отказываться от жизни! Не убивают себя из-за боли, причиняемой подагрой; одни душевные боли порождают отчаяние. Мы жалеем об участи детства, а нужно бы жалеть о нашей участи. Наибольшие наши бедствия приходят к нам от нас самих.

При рождении ребенок кричит; первое детство его проходит в плаче. Его то качают и ласкают, чтоб успокоить, то грозят и бьют, чтоб заставить замолчать. Мы или делаем, что ему нравится, или требуем от него, что нам нравится: сами подчиняемся его прихотям или его подчиняем нашим, — никакой середины! Ему приходится давать приказания или получать. Таким образом, его первые идеи — идеи власти и рабства. Прежде чем уметь говорить, он командует; не будучи еще в состоянии действовать, он повинуется; а иной раз и наказывают его прежде, чем он мог бы узнать свою вину или, лучше сказать, провиниться. Таким-то путем с ранних пор вносят в его молодое сердце страсти, которые сваливают потом на природу: положив немало труда на то, чтобы сделать его злым, потом жалуется, что находят его таким.

Шесть или семь лет подобным образом проводит ребенок в руках женщин, будучи жертвой их капризов и своих собственных; и после того, как обучат его и тому и сему, то есть загромоздят память его словами, которых он понять не может, или вещами, которые ни на что ему не годны, после того, как заглушат в нем природное страстями, возбуждаемыми в нем, передают это искусственное создание в руки наставнику, который доканчивает развитие искусственных задатков, найдя их уже вполне сформированными, и научает его всему, кроме познания самого себя, кроме умения пользоваться самим собою, кроме умения жить и делать себя счастливым. Наконец, когда этот ребенок, раб и тиран, исполненный знаний и лишенный смысла, одинаково слабый и телом и духом, бывает брошен в свет, то, выказывая здесь свою глупость, свое высокомерие и все свои пороки, он заставляет людей оплакивать человеческое ничтожество и испорченность. Но они ошибаются: это человек наших прихотей; человек природы создан иначе.

Итак, если вы хотите, чтоб он сохранил свой оригинальный вид, берегите этот вид с той самой минуты, как ребенок является в мир, лишь только он рождается, завладейте им и не покидайте его, пока он не станет взрослым: без этого вы никогда не добьетесь успеха. Как настоящая кормилица есть мать, так настоящий наставник есть

отец. Пусть они условятся между собой о порядке исполнения своих обязанностей, равно как и о системе; пусть из рук одной ребенок переходит в руки другого. Рассудительный и недалекий отец лучше его воспитает, чем самый искусный в мире учитель, ибо усердием лучше заменяется талант, чем талантом усердие.

А дела, служба, обязанности... Ах, да! обязанности! Быть отцом — это, несомненно, последняя обязанность \*!!! Нечего удивляться, что мужчина, жена которого погнушалась кормить ребенка — плод их союза, гнушается воспитывать его. Нет картины более прелестной, чем картина семьи; но недостаток одной черты портит все остальные. Если у матери слишком мало здоровья, чтоб быть кормилицей, то у отца окажется слишком много дел, чтоб быть наставником. Дети, удаленные, разбросанные по пансионам, по монастырям и коллегам, перенесут в другое место любовь к родительскому дому или, лучше сказать, вынесут оттуда привычку ни к чему не быть привязанными. Братья и сестры едва будут знать друг друга. Когда потом они церемонно соберутся все вместе, они будут, может быть, весьма вежливы друг с другом, но обходиться они будут как чужие. Коль скоро нет уже интимности между родными, коль скоро общество семьи не составляет жизненной отрады, приходится прибегать к безнравственным наслаждениям взамен ее. Кто настолько глуп, что не видит связи во всем этом?

Производя и питая детей, отец исполняет этим только третью часть своей задачи. Он должен роду человеческому дать людей, обществу — общественных людей, государству — граждан. Всякий человек, который может платить этот тройной долг и не делает этого, виновен и, может быть, более виновен, если платит его наполовину. Кто не может выполнить обязанностей отца, тот не имеет права быть им. Никакая бедность, никакие труды, никакое внимание к людскому мнению не избавляют его от обязанности кормить своих детей и самому воспитывать их. Читатель, ты можешь поверить мне в этом! Я предсказываю всякому, у кого есть сердце и кто пренебре-

\* Когда читаешь у Плутарха, как цензор Катон <sup>15</sup>, управлявший с такою славою Римом, воспитывал сам своего сына с колыбели, и притом с такою заботливостью, что покидал все, чтобы присутствовать, когда кормилица, т. е. мать, перепеленывала и обмывала ребенка; когда читаешь у Светония <sup>16</sup>, как владыка мира <sup>17</sup>, им покоренного и им же управляемого, сам учил своих внуков письму, плаванию, пачаткам науки и постоянно держал при себе их, то невольно посмеешься над чудаками того времени, забавлявшимися подобными пустяками, — они, должно быть, настолько были ограничены, что не сумели бы заниматься великими делами великих людей нашего времени.

гает столь священными обязанностями, что он долго будет проливать слезы по поводу вины своей и все-таки никогда не будет утешен.

Но что делает этот богач, этот глава семейства, столь занятый делами и принужденный, по его словам, кинуть детей своих на произвол судьбы? Он нанимает другого человека брать на себя заботы, которые ему в тягость. Продажная душа! Неужели ты думаешь за деньги дать своему сыну другого отца? Не обманывай себя; ты даже не учителя дашь ему, а лакея. Лакей скоро вырастит другого лакея<sup>18</sup>.

Много рассуждают о качествах хорошего воспитателя. Первое, которое я потребовал бы от него, — а оно предполагает и много других — это не быть человеком продажным. Бывают столь благородные занятия, что им нельзя предаваться за деньги, не выказывая себя этим недостойным их; таково именно ремесло наставника. «Кто же, наконец, будет воспитывать моего ребенка?» — «Я сказал уже тебе, что ты сам». — «Но я не могу». — «Ты не можешь!.. Ну так создай себе друга. Другого средства я не вижу».

Воспитатель! — какая возвышенная тут нужна душа!.. Поистине, чтоб создавать человека, нужно самому быть отцом или больше, чем человеком. И такую-то должность вы спокойно вверяете наемникам!

Чем больше думаешь об этом, тем больше замечаешь трудностей. Следовало бы, чтоб воспитатель был воспитан для своего питомца, чтоб прислуга последнего была воспитана для своего господина, чтоб все окружающие его получали именно такие впечатления, какие должны передавать ему; пришлось бы, восходя от воспитания к воспитанию, зайти бог весть куда. Как может хорошо воспитать ребенка тот, кто не был хорошо воспитан!

Можно ли отыскать этого редкого смертного? Не знаю. В наши времена нравственной низости кто знает, какой степени добродетели может еще достигнуть человеческая душа? Но предположим, что это чудо найдено. Чем он должен быть, это мы увидим из обозрения того, что он должен делать. Я заранее предвижу, что отец, который поймет всю цену хорошего воспитателя, решится обойтись без него; ибо ему труднее было бы приобрести его, чем самому им сделаться. Если же он хочет поэтому создать себе друга, то пусть воспитывает своего сына, чтоб он и был другом: ему незачем уже искать друга в другом месте; природа уже сделала половину дела.

Некто — я знаю только его ранг — сделал мне предложение воспитывать его сына. Он, несомненно, оказал мне много чести; но вместо того, чтобы жаловаться на мой отказ, он должен быть доволен моей скромностью. Если б я принял его предложение и если б я ошибся в своей методе, это было бы воспитание неудавшееся; если б

я имел успех, было бы гораздо хуже: сын его отказался бы от своего титула, он не захотел бы быть принцем.

Я слишком проникнут сознанием величия обязанностей наставника, я слишком чувствую свою неспособность, чтобы принять подобную должность, с чьей бы стороны она ни была предложена; даже интерес дружбы служил бы для меня лишь новым поводом к отказу. Думаю, что, прочитав эту книгу, немногие покусятся сделать мне это предложение; и я прошу тех, кто мог бы это сделать, не принимать на себя бесполезного труда. Я уже достаточно испробовал некогда это ремесло, чтобы быть уверенным, что я для него не годюсь, и мое положение избавляло бы меня от него, если бы я даже и годился для него по своим талантам. Думаю, что это публичное заявление должно и для тех, кто, пожалуй, и не соглашался бы со мной, быть достаточно убедительным, чтобы считать меня искренним и твердым в своих решениях.

Не будучи в состоянии выполнить задачу наиболее полезную, я возьму на себя смелость испробовать по крайней мере более легкую задачу: по примеру многих других я возьмусь за дело, за перо, и вместо того, чтобы сделать то, что нужно, постараюсь сказать это.

Я знаю, что при попытках, подобных моей, автор, имеющий всегда полное раздолье в системах, которые он не обязан применять на практике, обыкновенно без труда дает много прекрасных правил, которым невозможно следовать, и что, за отсутствием деталей и примеров, даже то, что удобно исполнимо в его предложениях, остается без употребления, если он не показал, как это применять к делу.

Поэтому я решил взять на себя воображаемого воспитанника, предположить нужные мне возраст, здоровье, знания и все таланты, потребные для того, чтобы трудиться над его воспитанием, и вести его с момента рождения до того времени, когда он, ставши зрелым человеком, не будет уже нуждаться в ином руководителе, кроме самого себя. Этот метод мне кажется пригодным для того, чтобы помешать автору, не доверяющему себе, блуждать в мире призраков; ибо как только он отступит от обычной практики, стоит ему только испытать свой метод на своем же воспитаннике, и он скоро почувствует — или за него читатель, — идет ли вслед за развитием ребенка и по пути, естественному для человеческого сердца.

При всех представлявшихся мне затруднительных случаях я старался поступать так. Чтобы не увеличивать бесполезно объема книги, в тех принципах, истину которых должен чувствовать каждый, я ограничился простым изложением. Что же касается правил, которые могли бы нуждаться в доказательствах, я все их применил к моему Эмилю или к другим образцам и с очень большими

подробностями показал, как то, что я устанавливаю, может быть выполнено на практике. Таков по крайней мере план, которым я задался. А удачно ли вышло, об этом судить читателю.

Поэтому-то я сначала мало говорил об Эмиле, так как мои первые правила воспитания, хотя и противоречат установленным, отличаются такой очевидностью, что всякому разумному человеку трудно отказать в сочувствии. Но по мере того как я подвигаюсь вперед, воспитанник мой, иначе руководимый, чем ваши, уже не является обыкновенным ребенком: ему нужен режим, годный специально для него. Тут он чаще появляется на сцену, а в последнее время я ни на минуту не теряю его из виду до тех пор, пока он, что бы там ни говорил, не будет уже иметь ни малейшей нужды во мне.

Я не говорю о качествах хорошего воспитателя. Я их предполагаю наперед и себя самого предполагаю одаренным всеми этими качествами. Читая это произведение, всякий увидит, как я щедр к себе.

Замечу только, что воспитатель ребенка, вопреки обычному мнению, должен быть молод, и даже так молод, как только может быть молод человек умный. Я желал бы, чтоб он сам был ребенком, если бы это можно было, чтобы он мог стать товарищем своего воспитанника и привлечь к себе доверие, разделяя с ним забавы его. Между детством и зрелым возрастом слишком мало общего для того, чтобы могла когда-нибудь при такой разнице в годах образоваться очень прочная привязанность. Дети ласкаются иногда к старикам, но никогда их не любят.

Хотят, чтобы воспитателем был человек, завершивший воспитание хотя бы одного ребенка. Слишком большое требование! Один человек может иметь один такой опыт; если бы для успеха дела нужно было два, то по какому же праву воспитатель брался бы за первое? С приобретением большой опытности можно было бы лучше действовать; но для этого не хватало бы уже сил. Кто раз настолько хорошо выполнил эту должность, что почувствовал все ее трудности, тот не покусится снова взяться за нее. А если он дурно выполнил ее в первый раз, это дурное предзнаменование для второго раза.

Я согласен, что большая разница — следить за молодым человеком в течение четырех лет или руководить им в течение двадцати пяти лет. Вы поручаете воспитателю вашего сына уже вполне сформировавшимся. Я же хочу, чтоб он имел воспитателя с рождения. Человек, приглашенный вами, может через каждое пятилетие менять своего воспитанника, мой все время будет иметь только одного. Вы отличаете учителя от воспитателя — новая нелепость! Разве вы отличаете ученика от воспитанника? Одну лишь науку предстоит

преподать детям — науку об обязанностях человека. Наука эта едина, и, что бы там ни говорил Ксенофонт о воспитании персов<sup>19</sup>, она неделима. Впрочем, преподавателя этой науки я назвал бы скорее воспитателем, чем учителем, так как ему надлежит больше руководить, чем обучать. Он не должен давать правил: он должен заставлять находить их.

Если нужна такая заботливость при выборе воспитателя, то и ему вполне позволительно выбирать себе воспитанника, особенно если дело идет об образце. Выбор этот не может касаться ни умственных способностей, ни характера ребенка, так как то и другое узнается лишь по окончании дела, а я усыновляю ребенка еще до рождения его. Если бы я мог выбирать, я взял бы ребенка обыкновенного ума, каким я предполагаю своего воспитанника. В воспитании нуждаются лишь обыкновенные люди; их воспитание одно и должно служить образцом для воспитания им подобных. Люди иные воспитываются, несмотря на всякие образцы.

Страна тоже не лишена влияния на развитие людей; они достигают всего, чем могут быть, лишь в умеренных климатах. Невыгодность резких климатов очевидна. Человек не посажен, как дерево, в одной стране, чтобы навсегда и оставаться в ней; и кто отправляется с одного края света, чтобы дойти до другого, тот принужден сделать двойной путь сравнительно с тем, кто отправляется из срединного пункта к тому же пределу.

Пусть обитатель умеренной страны побывает последовательно на том и другом конце света — его преимущество будет еще очевиднее, ибо он и подвергается таким же изменениям, как и тот, кто переходит с одного края света на другой, он все-таки наполовину меньше последнего удален бы от своего природного телосложения. Француз живет и в Гвинее, и в Лапландии<sup>20</sup>; но негр не выживет, как он, в Торнео или самоед в Бенне<sup>21</sup>. Кроме того, организация мозга, очевидно, менее совершенна в том и другом краю света. Ни негры, ни лапландцы не обладают таким разумом, как европейцы. Поэтому, если я хочу, чтобы мой воспитанник мог быть обитателем земли, я выберу его в умеренном поясе — во Франции, например, скорее, чем в другом месте.

На севере люди много потребляют, живя на неблагоприятной почве; на юге они на плодородной потребляют мало; отсюда порождается новая разница, которая делает одних трудолюбивыми, других — созерцательными<sup>22</sup>. Общество представляет нам подобие этих различий, на одном и том же месте, между бедными и богатыми: первые заселяют неблагоприятную почву, вторые — страну плодородную.

Бедняк не нуждается в воспитании; воспитание со стороны его

среды — вынужденное; он не мог бы иметь другого. Напротив, воспитание, получаемое богатым от своей среды, менее всего ему пригодно как для него самого, так и для общества. К тому же естественное воспитание должно делать человека годным для всех человеческих состояний; а воспитывать бедняка для богатой жизни менее разумно, чем богача для бедности; ибо если принять в расчет численность того и другого состояния, то разорившихся больше, чем поднявшихся вверх. Выберем поэтому богатого: мы по крайней мере будем уверены, что у нас стало одним человеком больше, тогда как бедняк может сам по себе сделаться человеком.

В силу того же обстоятельства я не прочь, чтобы Эмиль был из хорошего рода. Все-таки лишняя жертва будет вырвана из цепей предрассудка.

Эмиль — сирота. Не важно, есть ли у него отец и мать. Взявши на себя их обязанности, я наследую и все их права. Он должен почитать своих родителей, но слушаться он должен меня одного. Это мое первое или, скорее, единственное условие.

Я должен прибавить еще одно требование, служащее последствием первого: нас никогда не должны разлучать друг с другом иначе, как с нашего согласия. Это существенная статья, и я желал бы даже, чтобы воспитанник и воспитатель считали себя настолько неразлучными, чтобы и жизненный жребий их представлял всегда для них интерес. Как скоро они видят разлуку вдали, как скоро предусматривают момент, который должен их сделать чуждыми друг другу, они уже чужды. Каждый строит свою маленькую систему особняком, и оба, занятые мыслью о времени, когда они не будут уже вместе, неохотно остаются друг с другом. Ученик смотрит на учителя как символ учения и бич детства; учитель видит в ученике только тяжелое бремя, от которого горит желанием избавиться: они единодушно мечтают о моменте, когда увидят себя освобожденными друг от друга, и так как между ними никогда не бывает истинной привязанности, то одному, по необходимости, не хватает бдительности, другому — послушания.

Но когда они видят себя как бы обязанными провести всю жизнь вместе, для них важно заставить друг друга взаимно любить, и уже в силу этого они делаются друг другу дорогими. Ученик не стыдится следовать в детстве тому, кто будет его другом в зрелом возрасте. Воспитателя интересуют попечения, плоды которых он должен собрать, и все достоинства, которыми он наделяет своего воспитанника, суть капитал, скопляемый им на старость.

Трактат этот предполагает удачные роды, ребенка хорошо сложенного, крепкого и здорового. Для отца нет выбора, он никому не

должен отдавать предпочтение в семье, дарованной ему богом; все дети одинаково — его дети; всем им он должен оказывать одну и ту же заботливость и ту же нежность. Калеки они или нет, немощные или крепкие, каждый из них есть данное на хранение сокровище, в котором он должен дать отчет тому, из чьей руки получил, и брак есть столько же договор с природою, сколько и между супругами.

Но кто берет на себя обязанность, которой природа не налагала на него, тот должен обеспечить себя средствами выполнения; иначе он делает себя ответственным даже за то, чего не смог сделать. Кто берет в свои руки слабого и хилого питомца, тот меняет звание воспитателя на звание сиделки; он тратит на охранение бесполезной жизни время, которое предназначал на увеличение ее ценности; он рискует со временем услышать от безутешной матери упреки в смерти сына, которого он так долго для нее сохранял.

Я не взялся бы за воспитание ребенка болезненного и худосочного, хотя бы ему предстояло прожить лет восемьдесят. Мне не надо воспитанника, всегда бесполезного и для себя самого, и для других, который занят единственно самосохранением и в котором тело вредит воспитанию души. Чего я достиг бы, напрасно расточая свои заботы, — удвоил бы только потерю общества и, вместо одного, отнял бы у него двух? Пусть другой вместо меня борется за этого немощного — я соглашаюсь на это и одобряю его человеколюбие; но у меня — не таков мой талант: я не умею учить жить того, кто только и думает о том, как бы спасти себя от смерти.

Нужно, чтоб тело имело силу повиноваться душе: хороший слуга должен быть сильным. Я знаю, что невоздержанность возбуждает страсти; она изнуряет под конец и тело; но и умерщвление плоти, посты часто приводят к тому же результату, хотя и вследствие противоположной причины. Чем слабее тело, тем больше оно повелевает; чем сильнее оно, тем больше повинуется. Все чувственные страсти гнездятся в изнеженных телах, которые возбуждаются тем сильнее, чем меньше они могут удовлетворить их.

Слабое тело расслабляет душу. Отсюда — господство медицины, искусства более губительного для людей, чем все болезни, которые оно имеет претензию исцелять. Я не знаю, право, от какой болезни излечивают нас врачи, но я знаю, что они наделают нас самыми пагубными болезнями: трусостью, малодушием, легковерием, страхом смерти; если они исцеляют тело, зато убивают мужество. Какое нам дело, что они поднимают на ноги трупы? Нам нужны люди, а их-то никогда и не выходит из их рук.

Медицина в моде между нами; это и должно быть. Это забава людей праздных, ничем не занятых, которые, не зная, куда девать

время, проводят его в заботах о самосохранении. Имей они несчастье родиться бессмертными, они были бы самыми жалкими из существ; такая жизнь, которую они никогда не боялись бы потерять, не имела бы для них никакой цены. Этим людям и нужны медики, которые, чтобы польстить, угрожают им и ежедневно доставляют единственную радость, которую они способны воспринять, — радость, что они не умерли.

Я не имею никакого желания распространяться здесь о бесполезности медицины. Единственная цель моя — рассмотреть ее с нравственной стороны. Не могу, однако, не заметить, что люди относительно ее применения прибегают к тем же софизмам, как и при изыскании истины. Они всегда предполагают, что, кто пользует больного, тот и излечивает его, кто ищет истину, тот и находит ее. Они не видят, что прежде всего нужно сопоставить выгоду одного исцеления, произведенного врачом, со смертью сотни больных, убитых им же, пользу открытой истины — с вредом, порождаемым заблуждениями, которые являются в одно время с нею. Наука, которая научает, и медицина, которая исцеляет, без сомнения, очень хороши; но наука, которая обманывает, и медицина, которая убивает, — дурны. Научитесь же различать их. Вот сущность вопроса. Если бы мы могли не ведать истины, то никогда не были бы обманываемы ложью; если бы мы умели воздержаться от желания получить исцеление вопреки природе, мы никогда не умирали бы от руки медика; в том и другом случае воздержание было бы разумным; мы, очевидно, остались бы в выигрыше при таком воздержании. Я не оспариваю, значит, того, что медицина полезна некоторым людям, но говорю, что она пагубна для рода человеческого.

Мне скажут, как это постоянно говорят, что в ошибках виноват медик, но что медицина сама по себе непогрешима. Отлично! Но в таком случае пусть же она является к нам без медика; а пока они будут являться вместе, приходится во сто раз больше бояться ошибок представителей искусства, чем надеяться на помощь самого искусства.

Это лживое искусство, созданное скорее для болезней ума, чем для болезней тела, одинаково бесполезно как для одних, так и для других; оно не столько излечивает нас от болезней, сколько вселяет в нас ужас перед ними; оно не столько отдаляет смерть, сколько заранее дает чувствовать ее: оно расходует жизнь вместо того, чтобы продолжать ее; а если бы оно и делало ее более продолжительною, это скорее служило бы во вред роду человеческому, потому что заботы, налагаемые им, отнимали бы нас у общества, а внушаемые им ужасы отвлекали бы нас от обязанностей. Сознание опас-

постей и заставляет нас бояться их: кто считает себя неуязвимым, тот ни перед чем не испытывает страха. Изображая Ахилла предохраненным от опасности, поэт отнимает у него заслугу доблести; всякий другой на его месте с такою же честью оказался бы Ахиллом.

Хотите найти людей, истинно мужественных, ищите их там, где нет медиков, где незнакомы с последствиями болезней, где почти не думают о смерти. От природы человек умеет и страдать стойко, и умирать в мире. Роняют в нем дух и отучают его умирать именно медики со своими рецептами, философы со своими правилами, духовники со своими поучениями.

Пусть поэтому дадут мне воспитанника, который не имел бы нужды во всех этих людях, — или я отказываюсь. Я не хочу, чтобы другие портили мою работу. Я хочу воспитывать один или вовсе не вмешиваться в дело. Разумный Локк, прошедший часть своей жизни в изучении медицины, настоятельно рекомендует никогда не пичкать детей лекарствами, ни из предосторожности, ни из-за легкого недомогания. Я пойду дальше и заявляю, что, не обращаясь сам никогда к медикам, я никогда не позову их и к моему Эмилю, исключая случая, когда жизнь его будет в явной опасности; тогда, если и убьют его, так это не будет для него худшим злом.

Я хорошо знаю, что врач не преминет извлечь выгоду из этой отсрочки. Если ребенок умрет, — окажется, что врача пригласили слишком поздно; если избегнет смерти, — спасителем окажется он. Так и быть! Пусть врач торжествует; но главное — пусть зовут его лишь в случае крайности.

Не умея вылечиваться, пусть ребенок умеет быть больным: это искусство восполняет первое и часто бывает гораздо более успешным, это — искусство природы. Когда животное болеет, оно страдает молча и держит себя спокойно. Меж тем незаметно, чтобы немощных животных было больше, чем людей. Скольких людей убили нетерпение, страх, беспокойство и особенно лекарства — людей, которые пощажены были бы своею болезнью и исцелились бы благодаря одному времени! Мне скажут, что животные, ведя образ жизни, более соответственный природе, должны быть меньше подвержены страданиям, чем мы. Хорошо! Но ведь этому именно образу жизни я хочу научить своего воспитанника: он должен, значит, извлечь из него ту же самую пользу.

Единственная полезная часть медицины — гигиена; да и та не столько наука, сколько добродетель. Воздержанность и труд — вот два истинных врача человека: труд обостряет его аппетит, а воздержанность мешает злоупотреблять им.

Чтобы знать, какой режим наиболее полезен для жизни и здо-

ровья, нужно лишь знать, какого режима держатся народы, которые пользуются наилучшим здоровьем, отличаются наибольшею крепостью и наибольшею продолжительностью жизни. Если из всеобщих наблюдений не оказывается, чтобы применение медицины давало людям более крепкое здоровье или более продолжительную жизнь, то уже в силу того, что искусство это бесполезно, оно, кроме того, вредно, потому что совершенно понапрасну занимает время, людей и вещи. Приходится вычесть из жизни время, потраченное на сохранение ее, так как оно потеряно для пользования жизнью; но этого мало: когда время употреблено на то, чтобы мучить нас, оно уже не только обращается в ничто, оно — величина отрицательная, и, чтобы счет был правилен, нужно столько же вычесть из того, что осталось у нас. Человек, проживший десять лет, не зная врачей, жил больше для себя и других, чем тот, кто прожил тридцать лет жертвою их. Сделав тот и другой опыт, я, думаю мне, имею больше права, чем всякий другой, выводить отсюда заключение.

Вот для меня основания — желать для себя воспитанника крепкого и здорового; вот начала, в силу которых я хочу сохранять его таковым же. Я не стану долго останавливаться на доказательствах полезности ручных работ и телесных упражнений для укрепления темперамента и здоровья — этого никто не оспаривает; примеры наиболее продолжительной жизни наблюдаются почти всегда у людей, которые больше всего предавались упражнению, больше всего вынесли усталости и трудов \*. Я не стану также входить в обстоятельные подробности относительно забот, которые я намерен предпринять с этою одною целью: мы увидим, что заботы эти столь необходимо связаны с моим методом, что достаточно вникнуть в дух его, чтобы не нуждаться в других объяснениях.

Вместе с жизнью являются потребности. Новорожденному ребен-

\* Вот пример, взятый из английских газет, — я не мог удержаться, чтобы не привести его: столько он возбуждает размышлений, относящихся к моему сюжету. «Один обыватель, по имени Патрик О'Нейл, родившийся в 1647 г., только что женился в 1760 г. в седьмой раз. Он служил в драгунах на 17-м году царствования Карла II и в различных войсках до 1740 г., когда получил отставку. Он участвовал во всех походах короля Вильгельма и герцога Мальборо. Человек этот ничего не пил, кроме обыкновенного пива; питался всегда растительной пищею, а мясо ел лишь за обедами, которые он давал иной раз своей фамилии. Постоянной его привычкой было вставать и ложиться вместе с солнцем, если только этому не мешали его обязанности. Теперь ему 113-й год; он хорошо слышит, здоров и ходит без палки. Несмотря на свой глубокий возраст, он не остается ни одной минуты праздным и каждое воскресенье ходит в свою приходскую церковь, сопровождаемый своими детьми, внуками и правнуками».

ку нужна кормилица. Если мать соглашается исполнить свой долг — в добрый час! Ей дадут письменное наставление; ибо выгода здесь имеет и свою обратную сторону: воспитатель здесь несколько более удален от своего воспитанника. Но нужно думать, что интересы ребенка и уважение к человеку, которому мать намерена вверить столь дорогой залог, сделают ее внимательною к советам наставника; а что она захочет сделать, то, несомненно, она сделает лучше всякой другой. Если нужна чужая кормилица, постараемся прежде всего сделать хороший выбор.

Одно из несчастий богатых людей в том, что их во всем обманывают. Что же тут удивительного, если они дурного мнения о людях? Их портит богатство; и они же первые, как справедливое возмездие, испытывают на себе дурную сторону того единственного орудия, которое им знакомо. У них все исполнено дурно, исключая того, что они делают сами; а они почти никогда ничего не делают. Нужно найти кормилицу — выбор ее поручают акушеру. Что же отсюда выходит? А то, что лучшею оказывается та, которая больше ему заплатила. Я не пойду поэтому к акушеру за советом насчет выбора для Эмиля кормилицы; я постараюсь выбрать ее сам; быть может, я не сумею так красноречиво рассуждать по этому вопросу, как хирург, но зато, наверное, я буду добросовестнее, и усердие мое меня меньше обманет, чем жадность его.

Выбор этот не такая уже великая тайна; правила для него известны; но, мне кажется, следовало бы несколько больше обращать внимание на возраст молока, равно как и на его качество. Недавно появившееся молоко совершенно водянисто; оно должно оказываться почти слабительным, чтобы прочистить остатки *mesonium*<sup>23</sup>, сгустившегося в кишках новорожденного ребенка. Мало-помалу молоко становится гуще и доставляет ребенку пищу тем более плотную, чем больше последний приобретает силы переваривать ее. Недаром, конечно, природа изменяет густоту молока у всякого рода самок, смотря по возрасту питомца.

Итак, для ребенка, только что родившегося, нужна и кормилица, только что родившая. Такой выбор, я знаю, представляет своего рода трудности; но раз мы вышли из порядка природы, нам всюду нужно преодолевать трудности, чтобы сделать что-нибудь хорошо. Удобный путь только один — делать дурно; его именно и выбирают.

Кормилица должна быть также здорова и чувствами, как телом; переменчивость страстей может, как и переменчивость соков, испортить молоко; к тому же довольствоваться лишь стороной физической — значит видеть только половину предмета. Молоко может быть хорошим, а кормилица дурною; хороший характер — такая же сущест-

венная вещь, как и хороший темперамент. Если взять женщину порочную, то и питомец — не скажу, что заразится ее пороками, но по крайней мере будет терпеть от них. Не обязуется ли она, вместе с молоком, отдавать ребенку и свои заботы, которые требуют усердия, терпения, кротости, опрятности? Если она обжорлива, невоздержанна, она скоро испортит свое молоко; если она нерадива или вспыльчива, то что станет у ней с беднягой ребенком, который не может ни защититься, ни пожаловаться? Никогда, в чем бы то ни было, злые не бывают годными на что-нибудь доброе.

Выбор кормилицы тем более важен, что у питомца не должно быть иной, кроме нее, воспитательницы, как и не должно быть и другого наставника, кроме воспитателя. Такой был обычай у древних, которые меньше умствовали и были мудрее нас. Выкормив девочку, кормилицы уже не покидали ее потом. Вот почему в их театральных пьесах большинство наперсниц — кормилицы. Невозможно, чтобы ребенок, переходящий постепенно через столько различных рук, получил хорошее воспитание. При всякой перемене он внутренне делает сравнения, которые всегда уменьшают его уважение к своим руководителям, а следовательно, и власть последних над ним. Если в нем хоть раз зародится мысль, что бывают и взрослые, у которых не больше разума, чем у детей, то весь авторитет лет уже потерян, и воспитание окажется неудачным. Ребенок не должен знать иных авторитетов, кроме отца своего и матери или, за их отсутствием, кормилицы своей и воспитателя; даже и из этих двух лиц одно лишнее; но такое разделение неизбежно, и единственное средство помочь здесь делу состоит в том, чтобы два лица различного пола, руководящие ребенком, настолько были согласны между собой в своих отношениях к нему, чтобы двое были для него лишь одним лицом.

Нужно, чтобы кормилица пользовалась несколько большими удобствами жизни, чтобы пища у нее была несколько более питательна, но не следует ей совершенно изменять образ жизни; ибо быстрая и всецелая перемена, даже от худшего к лучшему, всегда опасна для здоровья; и так как обычный ее режим сохранил или дал ей здоровье и хорошее сложение, то к чему же изменять его?

Крестьянки меньше едят мяса и больше овощей, чем городские женщины; этот растительный режим оказывается более благоприятным для них самих и детей их, чем режим противоположный. Когда они поступают кормилицами в городские семьи, их начинают кормить супами — в убеждении, что суп и мясной бульон улучшат у них млечный сок и увеличат количество молока. Я совершенно не согласен с этим мнением; и за меня говорит опыт, который учит нас, что дети,

подобным образом вскормленные, более других подвержены коликам и глистам.

В этом мало удивительного, потому что животное вещество, когда разлагается, кишит червями, чего не бывает с веществом растительным. Молоко, хотя и вырабатывается в теле животного, есть вещество растительное \*; это показывает анализ его; оно легко скисается и не только не дает никакого следа летучей щелочи, как это бывает с веществами животными, но дает, как растения, нейтральную соль.

Молоко травоядных самок слаще и здоровее, чем молоко плотоядных. Образовавшись из вещества, однородного с ним самим, оно лучше сохраняет свою природу и менее подвержено разложению. Что же касается количества, то всякий знает, что мучная пища дает больше крови, чем мясная: первая должна, значит, производить больше и молока. Мне не верится, чтобы ребенок мог когда-либо страдать от глистов, если его отняли от груди не слишком рано или после отнятия кормили исключительно растительной пищей и если кормилица его тоже питалась лишь растительной пищей.

Очень возможно, что молоко, которое дает растительная пища, скорее скисается; но я вовсе не смотрю на кислое молоко как на пищу нездоровую: целые народы употребляют молоко не иначе, как в кислом виде, — и ничуть от этого не страдают; а весь этот подбор веществ, всасывающих кислоты, кажется мне чистым шарлатанством. Есть натуры, для которых молоко совершенно не годится, — в этом случае никакое всасывающее вещество не сделает его сносным; другие же переносят его без всяких всасывающих средств. Боятся молока свернувшегося, — но это безрассудство: ведь известно, что в желудке молоко всегда свертывается. Этим-то путем оно и становится пищей настолько плотной, что может питать детей и новорожденных животных; если б оно не свертывалось, оно просто проходило бы в желудке и не питало бы \*\*. Как ни разбавляй молоко, сколько ни употребляй всасывающих веществ, все-таки, кто ест молоко, тот переваривает и творог: это — правило без исключений. Желудок так хорошо приспособлен к свертыванию молока, что сывороточную закваску производят именно с помощью желудка телячьего.

\* Женщины едят хлеб, овощи, молочное; самки собак и кошек также едят все это; волчицы едят даже траву. Вот растительные соки для их молока. Остается исследовать молоко тех пород, которые питаются исключительно одним мясом, если есть такие, — в чем я сомневаюсь.

\*\* Хотя питающие нас соки представляют жидкость, но они должны получаться из плотных пищевых веществ. Если бы человек работающий питался одним бульоном, он скоро погиб бы. Но его гораздо лучше поддерживало бы молоко, потому что оно свертывается.

Итак, вместо того чтобы изменить обычную пищу кормилицы, достаточно, думаю, давать ей ту же пищу, но в большем количестве и с лучшим выбором. Постная пища горячит не вследствие самого состава пищевых веществ; приправы — вот что делает ее нездоровою. Измените правила вашей кухни: не жарьте ничего в масле; пусть масло, соль, молочное не проходит через огонь; варите овощи в воде и приправляйте их лишь тогда, когда их горячими подают на стол, — и постная пища вместо того, чтобы горячить, даст кормилице молоко в изобилии и лучшего качества \*. Раз для ребенка признан лучшим режим растительный, каким же образом для кормилицы лучшим будет режим животный? Тут очевидное противоречие.

Воздух влияет на телосложение детей особенно в первые годы жизни. В нежную и мягкую кожу он проникает через все поры и мощно действует на эти возникающие организмы; он оставляет следы, которые никогда не сглаживаются. Поэтому и я во все не того мнения, что крестьянку следует тащить из деревни, запереть ее в городе и заставить в четырех стенах кормить ребенка: вместо того чтоб ей дышать дурным городским воздухом, я предпочитаю, чтобы ребенок дышал хорошим деревенским воздухом. Он войдет в быт своей деревенской матери, будет жить в ее деревенском доме, и воспитатель последует за ним туда же. Читатель должен хорошо помнить, что воспитатель этот не наемный человек: это — друг отца. Но если, скажут мне, такого друга не найдешь, если подобный переезд невыполним, если нельзя выполнить ни одного из ваших советов, — что тогда делать вместо этого?.. Я сказал уже об этом: то, что вы делаете, тут нет нужды в советах.

Люди созданы не для того, чтобы скучиваться в муравейники, но чтобы жить рассеянными по земле, которую они должны обрабатывать. Чем больше они скучиваются, тем более портятся. Телесные немощи, равно как и душевные пороки, являются неизбежным последствием этого слишком многочисленного скопления. Из всех животных человек наименее способен жить в стаде. Люди, скученные как овцы, в самое короткое время погибли бы. Дыхание человека смертельно для подобных ему: это не менее верно и в собственном смысле, чем в переносном.

Города — пучина для человеческого рода. В несколько поколений расы погибают или вырождаются; им нужно обновление, а это обновление дает всегда деревня. Посылайте же детей своих обновляться, так

\* Кто глубже хочет вникнуть в вопрос о преимуществах и неудобствах пифагорейского режима, тот может обратиться к трактатам, написанным по поводу этого важного предмета докторами Кокки и Бианки <sup>24</sup>, его противником.

сказать, и восстанавливать среди полей силу, утраченную в нездоровой атмосфере местностей, слишком густо населенных. Беременные женщины, живущие в деревне, спешат на время родов в город: они должны были бы поступать совершенно наоборот, особенно те, которые хотят сами кормить своих детей. Им менее пришлось бы жалеть о городе, чем они думают; среди обстановки, более естественной для человеческого рода, удовольствия, связанные с обязанностями, налагаемыми природою, скоро отбили бы у них всякую охоту к другим, сюда не относящимся, удовольствиям.

После родов ребенка прежде всего обмывают теплой водой, к которой обыкновенно примешивают вина. Прибавление вина кажется мне совершенно излишним. Так как природа ничего не производит такого, что подвергалось уже брожению, то невероятно, чтоб употребление искусственно полученной жидкости необходимо было для жизни ее творений.

По той же причине и нагревание воды оказывается предосторожностью столь же мало необходимою; и действительно, множество народов моют новорожденных детей своих прямо в реке или море, но наши дети, изнеженные еще до рождения, вследствие изнеженности отцов и матерей, являются в свет уже с расстроенным организмом, который нельзя сразу подвергать всем испытаниям, имеющим в виду восстановить его. Лишь постепенно можно довести его до первоначальной крепости. Держитесь поэтому на первых порах обычая и лишь исподволь уклоняйтесь от него. Чаще мойте детей; их неопрятность показывает, что это необходимость. Если их просто вытирать, то это дерет кожу. Но по мере того как дети крепнут, понижайте постепенно температуру воды, пока наконец не станете летом и зимой мыть их в холодной воде и даже в ледяной. Так как, во избежание опасности, важно, чтоб это понижение температуры было медленным, последовательным и незаметным, то для точного измерения можно пользоваться термометром.

Раз установившись, эта привычка к купанью не должна уже прекращаться; важно сохранить ее на всю жизнь. Я рассматриваю ее не только со стороны опрятности и здоровья для данного момента, но и вижу в ней полезную меру для развития большой гибкости в ткани фибров, так, чтобы они, без труда и риска, выносили различные степени жара и холода. С этою целью желательно было бы по мере возраста привыкать мало-помалу купаться изредка в теплой воде всех степеней теплоты, какие можно выносить, и часто в холодной воде всевозможных градусов. Таким образом, приучив себя выносить различную температуру воды, которая, как жидкость более плотная, имеет больше точек соприкосновения с нашим телом и сильнее на

нас действует, мы стали бы почти нечувствительными к изменениям температуры воздуха <sup>25</sup>.

Не допускайте, чтобы ребенка в тот же момент, как он впервые вздохнул, выйдя из своих оболочек, закутывали в другие оболочки, в которых ему еще теснее. Прочь чепчики, прочь завязки и свивальники; достаточно просторных и широких пеленок, которые давали бы свободу всем его членам и не были бы настолько тяжелы, чтобы стеснять его движения, или настолько теплы, чтобы не давать ему чувствовать влияния воздуха \*. Поместите его в просторную, хорошо обитую колыбель \*\*, где он мог бы легко и безопасно двигаться. Когда он начнет укрепляться, пустите его ползать по комнате; дайте ему возможность развешивать, вытягивать свои маленькие члены; вы увидите, что они со дня на день будут крепнуть. Сравните его с ребенком, которого крепко пеленают в том же возрасте, и вы будете изумлены разницею в их развитии \*\*\*.

Нужно ожидать большого сопротивления со стороны кормилиц, которым ребенок, крепко связанный по рукам и ногам, доставляет

\* В городах детей заставляют задыхаться, держа их взаперти и постоянно одетыми. Люди воспитывающие, очевидно, еще не поняли, что холодный воздух не только не вреден, но даже укрепляет детей, а теплый воздух расслабляет их, причиняет лихорадку и губит их.

\*\* Я говорю «колыбель» <sup>26</sup>, употребляя обычное слово, за неимением другого, но я все-таки убежден, что нет ни малейшей необходимости качать детей и что этот обычай часто бывает для них губительным.

\*\*\* «Древние перуанцы, пеленая детей в очень просторный свивальник, руки у них оставляли свободными; когда же их распеленывали, то оставляли на свободе в ямке, вырытой в земле и устланной пеленками, опуская туда до половины туловища; в таком положении руки у них были свободными, и они могли по желанию двигать свою голову и сгибать туловище, не падая и не ушибаясь. Как только они научатся переступать с ноги на ногу, их мангли издали грудью, чтобы заставить ходить. Дети негров сосут иной раз грудь в положении гораздо более утомительном: они охватывают коленями и ногами одно из бедер матери и так крепко прижимаются, что могут держаться на нем без всякой поддержки со стороны матери. Они хватаются ручонками за грудь матери и постоянно сосут ее, не соскальзывая и не падая, несмотря на различные движения матери, которая тем временем занята бывает обычной своей работой. Дети эти со второго месяца начинают ходить или скорее ползать на коленях и руках. Благодаря упражнению они привыкают почти так же быстро передвигаться в этом положении, как если бы они бегали на ногах» (Бюффон, Естественная история, т. IV, с. 192). К этим примерам Бюффон мог бы прибавить и указание на Англию, где нелепый и варварский обычай пеленать детей со дня на день выходит из употребления. См. также «Путешествие в Сiam» Ла Лубера, «Путешествие по Канаде» Ле Бо и др.<sup>27</sup>. Я наполнил бы страниц двадцать цитатами, если бы имел нужду подтвердить свое мнение фактами.

меньше хлопот, чем тот, за которым нужно постоянно наблюдать. Кроме того, если ребенок не завернут, неопрятность его скорее бросится в глаза; приходится, значит, чаще подмывать его. Наконец и обычай — это такой аргумент, который в известных странах неопровержим, — к удовольствию черни всех государств.

Нечего рассуждать с кормилицей; приказывайте, наблюдайте за исполнением и прилагайте все старание, чтоб облегчить ей на деле те заботы, которые вы возложите на нее. Почему вам не разделить этих забот? При обычных способах вскармливания, когда имеют в виду только физическую сторону, лишь бы ребенок был жив, лишь бы не зачах, остальное почти не важно; но здесь, где воспитание начинается вместе с жизнью, ребенок уже при рождении бывает учеником не воспитателя, а природы. Воспитатель только и делает, что изучает, под руководством этого первого учителя, и не допускает, чтобы заботы последнего встречали помеху. Он присматривает за питомцем, наблюдает его, следит и бдительно высматривает первый проблеск его слабого понимания, подобно тому как мусульмане при приближении первой четверти зорко высматривают момент восхода луны.

Мы рождаемся способными к учению, но ничего не понимающими, ничего не сознающими. Душа, скованная несовершенными и полусформированными органами, не чувствует даже своего собственного существования. Движения, крики ребенка, только что родившегося, суть чисто механические проявления, лишённые сознания и воли.

Предположим, что ребенок имел бы при своем рождении рост и силу человека взрослого, что он вышел бы, так сказать, во всеоружии из лона матери своей, как Паллада вышла из головы Юпитера<sup>28</sup>; этот мужчина-дитя был бы совершенным глупцом, автоматом, статуей недвижимой и почти не чувствующей: он ничего не видел бы, ничего не слышал бы, никого не узнавал бы; не умел бы повернуть глаз к тому, на что нужно смотреть, он не только не замечал бы ни одного предмета вне себя, но и не относил бы ни одного предмета к тому органу чувств, с помощью которого он не мог бы заметить; цвета не доходили бы до его глаз, звуки не доходили бы до ушей; тела, которых он касался бы, не вызывали бы в его теле ощущений прикосновения; он не знал бы даже, что у него самого есть тело; прикосновение его рук совершалось бы в мозгу его; все его ощущения собирались бы в одном пункте; все его существование заключалось бы в общем средоточии чувств (*commune sensorium*), у него была бы всего одна идея — именно идея его «я», к которой он относил бы все свои ощущения, и эта идея или, скорее, чувство было бы единственною вещью, отличающей его от обыкновенного ребенка.

Этот человек, сформированный сразу, не умел бы даже стоять на ногах; ему потребовалось бы много времени, чтобы научиться держать себя в равновесии; быть может, он ни разу и не сделал бы такого опыта, и вы увидели бы, как это огромное тело, сильное и крепкое, не может, как камень, сдвинуться с места или ползает и тащится, как щенок, по земле.

Он чувствовал бы всю тягость своих потребностей, не сознавая их и не умея придумать никакого средства, чтобы удовлетворить их. У него не было бы никакого непосредственного сообщения между мускулами желудка и мускулами рук и ног; если бы даже он был окружен пищей, ничто не заставляло бы его сделать хоть один шаг, чтобы приблизиться к ней, или протянуть руку, чтобы захватить ее; и так как тело его уже получило надлежащий рост, члены совершенно развиты и он, следовательно, не производил бы тех постоянных беспокойных движений, которые свойственны детям, то он мог бы умереть с голоду, не тронувшись с места для того, чтобы найти себе пропитание. Кто хоть немного размышлял о порядке приобретения и прогрессе наших знаний, тот не может отрицать, что таково почти и было первобытное состояние невежества и глупости, естественное для человека, прежде чем он научился чему-либо из опыта или от подобных себе.

Итак, мы знаем или по крайней мере можем знать тот первый пункт, с которого каждый из нас отправляется, чтобы дойти потом до обычной для нас степени разумения; но кто знает другой крайний пункт? Каждый подвигается вперед более или менее, смотря по своим способностям, вкусу, потребностям и талантам, смотря по своему рвению и случаям, где можно выказать это рвение. Я не думаю, чтобы какой-нибудь философ был настолько смел, чтобы сказать: вот предел, до которого может дойти человек и которого он не сумеет перейти. Мы не знаем, чем нам быть позволит наша природа; ни один из нас не измерил расстояния, которое может быть между одним человеком и другим человеком. Где та низкая душа, которую никогда не согревала эта идея и которая в своей гордости не говорила подчас самой себе: «Сколько мною уже пройдено! Сколь многого я могу еще достигнуть! Почему и ближнему моему не идти дальше меня?»

Воспитание человека, повторяю, начинается вместе с рождением его; прежде чем говорить, прежде чем слышать, он уже обучается. Опыт предшествует урокам; в момент, когда он узнает кормилицу, он уже многое приобрел. Мы были бы изумлены познаниями человека, даже самого грубого, если бы проследили развитие его с момента, когда он родился, до того момента, которого он достиг. Если разделить все знания человеческие на две части и отнести к одной

знания, общие всем людям, а к другой — свойственные ученым, то последняя часть оказалась бы самою незначительною по сравнению с первой. Мы почти не замечаем приобретений всеобщих, потому что мы делаем эти приобретения, вовсе не думая о них, и даже не достигли еще разумного возраста, потому что знание можно подметить лишь путем различения, а величины общие, как в алгебраических уравнениях, не идут в счет.

Животные даже — и те много приобретают. У них есть чувства — нужно научиться удовлетворять их; нужно научиться есть, ходить, летать. Четвероногие, которые с самого рождения могут держаться на ногах, ходить все-таки не умеют на первых порах: в их первых шагах видны лишь неуверенные попытки. Канарейки, вырвавшиеся из клеток, не умеют летать, потому что никогда не летали. Для существ одушевленных и чувствующих все служит предметом обучения. Если бы растения были способны к прогрессивному движению, и они должны были бы иметь чувства и приобретать познания: в противном случае виды скоро погибли бы.

Первые ощущения детей чисто аффективные — они ощущают только удовольствие или страдание. Так как они не могут ни ходить, ни брать предметы, то им требуется много времени для того, чтоб у них мало-помалу образовались ощущения с характером представления, указывающие на существование предметов вне их самих. Но прежде чем эти предметы займут для них пространство, удалятся, так сказать, от их глаз, получают размеры и форму, повторение аффективных ощущений начинает уже подчинять их владычеству привычки. Мы видим, что глаза их беспрестанно обращаются к свету, и, если свет падает сбоку, незаметно принимают это же направление; таким образом мы должны стараться держать их лицом к свету из опасения, чтобы глаза их не стали косыми или не привыкли смотреть косо. Нужно также с ранних пор приучать их к потемкам; иначе они будут плакать и кричать, лишь только очутятся в темноте. Слишком точное распределение пищи и сна делает то и другое необходимым по истечении каждого определенного промежутка времени: скоро желание начинает являться уже не из потребности, а из привычки, или, лучше сказать, привычка прибавляет новую потребность к потребности природной — вот это-то и следует предупреждать.

Единственной привычке нужно дать возможность развиваться в ребенке: это — не усваивать никаких привычек. Пусть его не носят на одной руке чаще, чем на другой; пусть не приучают одну руку скорее протягивать или чаще пускать в дело, чем другую; пусть не приучают есть, спать, действовать в одни и те же часы; пусть он не боится ни ночью, ни днем одиночества. Подготовляйте исподволь царство

свободы и умение пользоваться своими силами, предоставляя его телу привычки естественные, давая ему возможность быть всегда господином самого себя и во всем поступать по своей воле, как только будет иметь ее.

Когда ребенок начинает различать предметы, важно уметь делать выбор между предметами, которые ему показывают. Очень естественно, что все новые предметы интересуют человека. Он чувствует себя столь слабым, что боится всего, с чем незнаком; привычка же видеть новые предметы без особенного возбуждения уничтожает этот страх. Дети, воспитанные в домах, где соблюдается чистота, где не терпят пауков, боятся последних, и эта боязнь остается у иных часто в зрелом возрасте. Но я не видывал, чтобы кто-нибудь из крестьян — мужчина, женщина или ребенок — боялся пауков.

Как же не начинать воспитания ребенка еще прежде, чем он станет говорить и понимать, если уж один выбор предметов, которые ему показывают, способен сделать его или ребенком, или мужественным? Я хочу, чтоб его приучали к виду новых предметов, к виду безобразных, отвратительных, причудливых животных, но не иначе, как постепенно, исподволь, пока он не освоится с ними и, видя, как другие берут их в руки, не станет, наконец, и сам брать их. Если в детстве без ужаса он глядел на жаб, змей, раков, то и выросши он без отвращения будет смотреть на какое угодно животное. Нет предметов ужасных для того, кто видит их каждый день.

Все дети боятся масок. Я начну с того, что покажу Эмилю маску с приятными чертами лица; затем кто-нибудь у него на глазах надеет ее на лицо: я начну хохотать, засмеются и все, — и ребенок вместе с другими. Мало-помалу я приучу его к маскам с менее приятными чертами и, наконец, к фигурам отвратительным. Если я хорошо выдержал градацию, то он не только не испугается последней маски, но будет смеяться над ней, как и над первой. После этого я не боюсь уже, что его испугают масками.

Когда, при прощании Гектора с Андромахой, младенец Астинакс, испуганный султаном, развевавшимся на шлеме отца, не узнал последнего, бросился с криком на лоно кормилицы, вызвав у матери улыбку, смешанную со слезами, — что следовало тогда сделать, чтобы рассеять этот испуг? То именно, что сделал Гектор: положить шлем на землю и потом обласкать ребенка<sup>29</sup>. Но в минуту более покойную на этом не остановились бы: подошли бы к шлему поближе, поиграли бы его перьями, дали бы ребенку подержать их в руке, наконец; кормилица взяла бы шлем, надела бы его, улыбаясь, себе на голову — если только рука женщины осмелилась бы коснуться оружия Гектора.

Если нужно приучить Эмиля к звуку огнестрельного оружия, я сначала зажигаю затравочный порох в пистолете. Это внезапно и на миг явившееся пламя, этот род молнии веселит его; я повторяю тот же опыт с большим количеством пороха; прибавляю постепенно в пистолет небольшой заряд без пыжа, заряд побольше; наконец, приучаю его к выстрелам из ружья, к мортирам, пушкам — к самой страшной пальбе.

Я заметил, что дети редко боятся грома, если только раскаты не бывают ужасными и действительно невыносимыми для органа слуха; боязнь эта у них является тогда только, когда они узнают, что молния ранит, а иной раз и убивает. Когда разум начинает внушать им страх, устройте так, чтобы их ободряла привычка. Путем медленной и искусной постепенности и взрослого и ребенка можно сделать бесстрашным по отношению ко всему.

В первые годы жизни, когда память и воображение еще бездействуют, ребенок бывает внимателен лишь к тому, что в данное время действует на его чувства; так как ощущения его служат первым материалом для его познаний, то представлять их ему в надлежащем порядке — значит готовить его память к тому, чтобы со временем она в том же порядке доставляла их и его разуму. Но так как ребенок внимателен только к своим ощущениям, то на первый раз достаточно отчетливо показать ему связь этих самых ощущений с предметами, их производящими. Он хочет до всего дотронуться, все взять в руки: не препятствуйте этой пытливости, она дает ему первые опыты знания, самые необходимые. Этим именно путем он научается ощущать тепло, холод, твердость и мягкость, тяжесть и легкость тел, судить об их величине, фигуре и о всяких доступных чувству свойствах, — судить с помощью зрения, осязания, слуха, особенно с помощью сопоставления зрения с осязанием, посредством оценки на взгляд того ощущения, которое он получил бы при помощи пальцев \*.

Мы только через движение знаем, что есть вещи, отличные от нас самих, и только через наше собственное движение приобретаем идею протяжения. Ребенок не имеет этой идеи; поэтому-то он и протягивает руку безразлично и к тому предмету, который в ста шагах от него. Это усилие его вам кажется властным мановением, приказом, которые он отдает предмету, чтоб он приблизился, или вам, чтобы вы принесли его, но это вовсе не то: это только значит, что он теперь

\* Обоняние развивается в детях позже всех других чувств; до двух- или трехлетнего возраста они, по-видимому, не чувствительны ни к хорошему, ни к дурным запахам. Они выказывают в этом отношении то же равнодушие или, скорее, нечувствительность, какие мы замечаем у некоторых животных.

видит у конца своих рук те самые предметы, которые видел сначала в своем мозгу, потом в глазу своем, и что он может представить себе лишь такое протяжение, которого может достигнуть. Заботьтесь же чаще носить его гулять, переносить с места на место, давать ему чувствовать перемену местности, чтобы научить его судить о расстояниях. Когда он начнет различать их, тогда нужно изменить методу и носить его туда, куда вам хочется, а не туда, куда ему хочется, потому что, коль скоро чувство уже не обманывает его, усилия его вызываются уже другою причиною. Перемена эта замечательна и требует объяснения.

Ощущение неудовлетворенной потребности выражается знаками, когда для удовлетворения ее необходима помощь другого. Отсюда — крики детей. Они плачут много; это так и должно быть. Так как все их ощущения имеют характер аффективный, то, если они приятны, дети наслаждаются ими молча; если же они тягостны, они выражают это на своем языке и требуют облегчения. А пока они бодрствуют, они почти не могут оставаться в состоянии безразличия: они спят или находятся под влиянием аффекта.

Все наши языки суть произведения искусства. Долго искали, нет ли языка природного и общего всем людям. Он, несомненно, есть — это тот язык, которым говорят дети, прежде чем научаются говорить. Язык этот нечленораздельный, но он выразителен, звучен, понятен. Пользуясь своими языками, мы до того стали пренебрегать им, что наконец совершенно его забыли. Станем изучать детей, и около них мы скоро припомним его. Кормилицы — учителя для нас этого языка; они все понимают, что говорят их питомцы; они отвечают им, ведут с ними очень связные беседы и хотя произносят слова, но слова эти совершенно бесполезны; не смысл слова понимают дети, а то выражение, с которым оно сказано.

К языку голосовому присоединяется язык жестов — не менее энергичный. Жесты эти не в слабых руках детей, а на их лицах. Удивительно, как выразительны уже эти физиономии, еще плохо сформировавшиеся: черты их с минуты на минуту изменяются с непостижимой быстротой; вы видите, как, подобно блескам молнии, зарождается и исчезает улыбка, желание, страх; каждый раз вы будто видите другое лицо. Мускулы лица у них, несомненно, подвижнее, чем у нас. Но зато их тусклые глаза почти ничего не говорят. Таким и должен быть язык знаков в возрасте, которому знакомы лишь телесные потребности: выражение ощущений заключается в движениях лица, выражение чувствований — во взгляде.

Так как первое состояние человека есть состояние ничтожности и слабости, то первые звуки его бывают жалобой и плачем. Ребенок

чувствует свои потребности и не может их удовлетворить — и вот он просит чужой помощи криками; если ему хочется есть или пить, он плачет; если ему слишком холодно или слишком жарко, он плачет; если у него является потребность движения, а его держат в покое, он тоже плачет; ему хочется спать, а его качают — он опять плачет. Чем меньше он может располагать своим состоянием, тем чаще он требует, чтоб изменяли последнее. У него один способ выражения, потому что у него только один, так сказать, род злополучий: при несовершенстве своих органов он не различает их разных впечатлений; все бедствия производят в нем одно ощущение — боли.

Из этого плача, который, казалось бы, столь мало заслуживает внимания, рождается первое отношение человека ко всему тому, что его окружает: здесь куется первое звено той длинной цепи, из которой образовался общественный строй.

Когда ребенок плачет, то, значит, ему не по себе, он ощущает какую-нибудь потребность, удовлетворить которую не умеет: мы исследуем, разыскиваем эту потребность — находим и удовлетворяем ее. Если мы не находим ее или если нельзя удовлетворить ее, плач продолжается и надоедает нам: мы ласкаем ребенка, чтобы заставить его замолчать, убаюкиваем, напеваем ему, лишь бы он заснул: если он упрямится, мы раздражаемся, грозим ему; грубые кормилицы подчас и бьют его. Какие странные уроки получает он при вступлении в жизнь!

Я никогда не забуду, как одного из таких докучливых плакс прибила кормилица. Он тотчас же смолк; я подумал, что он испугался. Я говорил себе: вот будет раболепная душа, от которой ничего не добьешься иначе, как строгостью. Я ошибался: несчастного душил гнев; у него захватило дыхание; я увидел, как он посинел. Минуту спустя раздались пронзительные крики: все выражения злобы, ярости, отчаяния, на какие способен этот возраст, слышались в этих воплях. Я боялся, чтоб он не испустил духа среди этого волнения. Если б я сомневался, врожденно ли человеческому сердцу чувство справедливого и несправедливого, один этот пример меня убедил бы. Я уверен, что горячая головня, упавшая случайно на руку этого ребенка, была бы для него менее чувствительна, чем этот удар, довольно легкий, но нанесенный с очевидным намерением оскорбить его.

Это расположение детей к вспыльчивости, досаде, гневу требует чрезвычайной осторожности. Бургав<sup>30</sup> полагает, что их болезни в большинстве случаев относятся к классу конвульсивных, потому что нервы их более восприимчивы к раздражению вследствие того, что голова у них пропорционально больше, чем у людей возмужалых, а система нервов обширнее. Удаляйте от них, как можно старательнее,

прислугу, которая их дразнит, сердит, выводит из терпения: она во сто раз опаснее, гибельнее для них, чем суровость климата и времен года. Пока дети будут встречать сопротивление лишь в вещах, а не в воле другого, они не сделаются ни упрямыми, ни гневными и лучше сохраняют свое здоровье. Здесь кроется одна из причин того, что дети простого народа, будучи свободнее и независимее, оказываются вообще менее хилыми и нежными и более крепкими, чем те, которым хотят дать лучшее воспитание с помощью постоянных противоречий их желаниям; но нужно всегда помнить, что большая разница — повиноваться им или только не противоречить.

Первый плач детей есть просьба; если не принимать мер предосторожности, то она скоро делается приказанием; они начинают тем, что заставляют себе помогать, а кончают тем, что заставляют служить себе. Таким образом, из их слабости сначала возникает чувство зависимости, затем рождается идея власти и господства; но так как эта идея возбуждается в них не столько их потребностями, сколько нашими услугами, то тут начинают, значит, проявляться нравственные влияния, непосредственная причина которых лежит уже не в природе; теперь уже видно, почему можно с этого первого возраста разобрать тайное намерение, лежащее в основе жеста или крика.

Когда ребенок протягивает руку с усилием и молча, он думает достать предмет, потому что не умеет оценивать расстояния, — в этом случае он заблуждается; но когда он жалуется и кричит, протягивая руку, тут уже не обманывается в расстоянии, а приказывает или предмету приблизиться, или вам принести ему предмет. В первом случае медленными и небольшими шагами поднесите его к предмету; во втором не показывайте даже вида, что слышите его; чем больше будет кричать, тем менее вы должны его слушать. С ранних пор следует приучить ребенка не повелевать ни людьми, потому что он не господин их, ни вещами, потому что они его не понимают. Таким образом, если ребенок желает какой-нибудь вещи, которую видит и которую хотят ему дать, то лучше поднести его к предмету: он извлекает из этого образа действия вывод, доступный его возрасту, а другого средства внушить ему этот вывод нет.

Аббат де Сен-Пьер <sup>31</sup> называл людей большими детьми; можно было бы и — наоборот — детей назвать маленькими людьми. Как сентенции, эти положения заключают в себе долю истины; как принципы, они нуждаются в пояснении. Но когда Гоббс <sup>32</sup> называл злого человека сильным ребенком, он высказывал мысль совершенно противоречивую. Всякая злость порождается слабостью; ребенок только потому и бывает злым, что он слаб: сделайте его сильным, и он будет добр: кто мог бы делать все, тот никогда не делал бы зла. Из всех

свойств всемогущего Божества благость такое свойство, без которого труднее всего представить себе Божество. Все народы, признававшие два начала, злое начало всегда ставили ниже доброго; в противном случае они предполагали бы нечто абсурдное. См.: «Исповедание веры савойского викария».

Один разум научает нас распознавать добро и зло. Совесть, заставляющая нас любить одно и ненавидеть другое, не может, значит, развиваться без разума, хотя она и не зависит от него. До наступления разумного возраста мы делаем добро и зло, не сознавая его, и в наших действиях нет нравственного элемента, хотя бы он и был иной раз в нашем суждении о действиях другого, имеющих к нам отношение. Ребенку хочется привести в беспорядок все, что он видит; он бьет, ломает все, что может достать; он хватается птицу, как схватил бы камень, и душит ее, сам не зная, что делает.

Отчего это? Философия станет объяснять это прежде всего естественными пороками: гордость, властолюбие, самолюбие, злость человека — и сознание своей слабости, могла бы она прибавить — вселяют в ребенка страсть совершать поступки, выражающие силу, и доказывать самому себе свое собственное могущество. Но вот посмотрите на этого дряхлого старика, доведенного круговоротом человеческой жизни снова до детской слабости: он не только остается неподвижным и покойным, но хочет еще, чтобы все и вокруг него оставалось таковым же; малейшая перемена его смущает и беспокоит; ему хотелось бы, чтобы царила тишина. Каким образом то же бессилие в соединении с теми же страстями могло бы в двух возрастах вести к столь различным результатам, если бы первая причина оставалась неизменною? И где искать этого различия причин, как не в физическом состоянии обоих индивидов? Начало деятельное, общее им обоим, в одном развивается, в другом потухает; один формируется, другой разрушается; один стремится к жизни, другой — к смерти. Слабеющая деятельность старика сосредоточивается в его сердце; в сердце же ребенка она бьет ключом и распространяется наружу; ребенок — можно сказать — чувствует в себе столько жизни, что может оживлять и все окружающее. Создает ли он или портит — все равно: ему лишь бы изменять состояние вещей, а всякое изменение есть действие. Если у него как будто больше склонности к разрушению, то это не от злости: это оттого, что действие созидающее всегда бывает медленным, а действие разрушающее, как более стремительное, больше подходит к его живости.

Наделяя детей этим деятельным началом, Творец природы озаботился, чтоб оно мало приносило вреда, и предоставил им для этой деятельности очень мало силы. Но как скоро у них является возмож-

ность смотреть на окружающих людей как на орудие, которое они могут по своему произволу пустить в действие, они им пользуются, чтобы удовлетворить свою склонность и возместить свою собственную слабость. Вот каким путем они становятся докучными, тиранами, высокомерными, злыми, неукротимыми; и это развитие ведет начало не от прирожденного духа господства, но само вызывает этот дух, ибо не нужно долгого опыта для того, чтобы почувствовать, как приятно действовать чужими руками и, пошевелив только языком, приводить в движение вселенную.

Подрастая, мы приобретаем силы, делаемся менее беспокойными, менее подвижными, больше углубляемся в себя. Душа и тело приходят, так сказать, в равновесие, и природа требует уже лишь столько движения, сколько необходимо для нашего самосохранения. Но желание повелевать не замирает вместе с потребностью, его породившей; власть будит самолюбие и льстит ему, а привычка укрепляет его: так прихоть занимает место потребности, так пускают свои первые корни предрассудки и ложные убеждения.

Раз известен нам принцип, мы ясно уже видим пункт, где покидают естественный путь; посмотрим, что нужно делать, чтоб удержаться на нем.

У детей не только нет избытка сил, но даже не хватает их для всего того, чего требует природа; нужно, значит, предоставить им пользование всеми теми силами, которыми она наделила их и которыми они не умеют злоупотреблять. Вот первое правило.

Нужно помогать им и восполнять для них недостаток разума или силы во всем, что касается физических потребностей. Это — второе правило.

Оказывая им помощь, нужно ограничиваться только действительным, не делая никаких уступок ни прихоти, ни беспричинному желанию; ибо их не будут мучить прихоти, если не дать им возможности зародиться, так как они не вытекают из природы. Это — третье правило.

Нужно старательно изучать язык детей и их знаки, чтобы различать — так как они в этом возрасте не умеют еще притворяться, — что в их желаниях идет непосредственно от природы и что порождено прихотью. Это — четвертое правило.

Суть этих правил состоит в том, чтобы давать детям больше истинной свободы и меньше власти, предоставлять им больше действовать самим и меньше требовать от других. Таким образом, приучаясь с ранних пор ограничивать желания пределами своих сил, они мало будут чувствовать лишения того, что не в их власти.

Вот, значит, новое основание — и притом очень важное — давать телу и членам детей полную свободу, заботясь только о том, чтоб устранить опасность падения и удалять от их рук все, что может их ушибить.

Ребенок, у которого тело и руки свободны, неминуемо будет меньше плакать, чем ребенок, затянутый свивальником. Кому знакомы только физические потребности, тот плачет лишь тогда, когда страдает, и это очень большое преимущество; ибо в этом случае мы вовремя узнаем, когда он нуждается в помощи, и мы должны, не медля ни минуты, подать ее, если возможно. Но если вы не можете облегчить его положения, оставайтесь спокойными и не ласкайте его с целью успокоить: ласки ваши не исцелят его колик, а между тем он будет помнить, что́ нужно сделать для того, чтоб его приласкали; и если он хоть раз сумеет по своей воле занять вас собою, он стал уже вашим господином, — и все пропало.

Если меньше стеснять детей в движениях, они меньше будут плакать; если вам меньше будет надоедать плач их, вы меньше станете мучиться, заставляя их молчать; реже слыша угрозы или ласки, они станут менее боязливymi или менее упрямыми и скорее останутся в своем естественном состоянии. Они получают грыжу не столько оттого, что им дают волю плакать, сколько оттого, что слишком усердствуют их успокоить; а доказательство я вижу в том, что дети, наиболее остающиеся в пренебрежении, менее других ей подвержены. Я, однако, очень далек от желания, чтобы пренебрегали детьми, — напротив, важно предупреждать их нужды и не давать им воли заявлять о них криками. Но я не хочу также, чтобы заботы о них были бестолковы. Зачем они станут воздерживаться от плача, раз они видят, что плач их пригоден для стольких целей? Узнавши, какую цену придают их молчанию, они берегутся расточать его. Они, наконец, настолько возвышают его цену, что его нельзя уже и купить, и тогда излишним плачем они уже насилуют себя, истощают и губят.

Продолжительный плач ребенка, который не связан, не болен, ни в чем не нуждается, проистекает исключительно от привычки и упорства. Тут виновата не природа, а кормилица, которая, не желая выносить докучливых криков, только умножает их; она не понимает, что, заставляя ребенка молчать сегодня, мы этим побуждаем его еще больше плакать завтра.

Единственный способ искоренить или предупредить эту привычку — это не обращать на плач никакого внимания. Никто не любит трудиться даром, даже дети. Они упорны в своих попытках; но если у вас больше твердости, чем у них упрямства, они сдаются и уже не возвращаются к этому. Таким-то образом избавляют их от плача и

приучают только тогда проливать слезы, когда их вынуждает к этому боль.

Впрочем, когда они плачут от каприза или упрямства, есть верное средство прекратить плач: стоит только развлечь их каким-нибудь приятным и поражающим предметом, который заставит их забыть о плаче. Большинство кормилиц отличается этим искусством; и если употреблять его с большим разбором, оно очень полезно; но в высшей степени важно, чтобы ребенок не заметил намерения развлекать его и забавлялся, не помышляя, что о нем заботятся, — а в этом именно все кормилицы не особенно ловки.

Отнимают детей от груди всегда слишком рано. Время, когда их нужно отнимать, указывается прорезыванием зубов, и это прорезывание обыкновенно бывает трудным и болезненным. Машинальный инстинкт побуждает в этом случае ребенка нести ко рту все, что он держит, — с целью жевать. Думают облегчить операцию тем, что в качестве погремушки дают ему какое-нибудь твердое тело, например слоновую кость или полировальный зуб<sup>33</sup>. Я полагаю, что это — заблуждение. Эти твердые тела, надавливая десны, вместо того чтобы размягчать, делают их мозолистыми, затверделыми, готовят прорезывание более трудное и болезненное. Станем брать за образец всегда инстинкт. Мы видим, что щенки упражняют свои подрастающие зубы не на камнях, не на железе или кости, а на дереве, коже, лоскутьях, — на материях мягких, которые поддаются и в которые зуб может вонзиться.

Теперь уже ни в чем не умеют соблюдать простоты, даже по отношению к детям. Серебряные, золотые, коралловые бубенчики, граненый хрусталь, всякой цены и всякого вида погремушки — сколько бесполезных и губительных приборов! Ничего этого не нужно — никаких бубенчиков, никаких погремушек! Маленькие древесные ветки с плодами и листьями, головка мака, в которой гремят зерна, солодковый корень, который ребенок может сосать и жевать, будут забавлять его столько же, сколько эти великолепные безделушки, и будут хороши тем, что не станут приучать его к роскоши с самого рождения.

Выяснено, что детская каша не особенно здоровая пища. Кипяченое молоко и сырая мука производят много желудочных нечистот и мало пригодны для нашего желудка. В каше мука менее сварена, чем в хлебе, и, кроме того, она не перебродила; хлебная похлебка, рисовая каша кажутся мне более предпочтительными. Если желают приготовить непременно мучную кашу, то муку нужно предварительно несколько поджаривать. На моей родине из такой подсушенной муки готовят очень приятный и очень здоровый суп. Мяс-

ной бульон и суп тоже плохое кушанье, употреблять которое следует как можно реже. Важно, чтобы дети приучились прежде всего жевать: это верный способ облегчить прорезывание зубов; а когда они начинают глотать пережеванное, слюна, перемешанная с пищей, облегчает им пищеварение.

Я заставлял бы их поэтому жевать на первых порах сухие фрукты, корки. Я давал бы им вместо игрушки небольшие ломтики черствого хлеба и сухаря, вроде пьемонтского хлеба, который в той стране называют *grisses* <sup>34</sup>. Размягчая этот хлеб во рту, дети глотали бы по крошке, зубы скоро прорезались бы, и дети отвыкли бы от груди прежде, чем это заметили бы. У крестьян обыкновенно очень крепкий желудок, и детей у них отучают от груди не с большими церемониями, чем мы указали.

Дети слышат говор с самого рождения; с ними говорят не только прежде, чем они станут понимать сказанное, но даже прежде, чем они могли бы передать слышанные звуки. Их орган речи, пока еще неповоротливый, лишь мало-помалу начинает подражать произносимым перед ними звукам, и в точности неизвестно даже, с такою ли отчетливостью они на первых порах воспринимают ухом эти звуки, как и мы. Я не против того, чтобы кормилица забавляла на первых порах ребенка пением и очень веселыми, очень разнообразными мотивами; но я далеко не согласен, чтоб она беспрестанно оглушала его потоком бесполезных слов, в которых он ничего не понимает, кроме тона, каким они произносятся. Я бы хотел, чтобы первые членораздельные звуки, понимать которые учат ребенка, были медленно произносимыми, легкими, ясными, часто повторяемыми и чтобы слова, ими выражаемые, относились только к видимым предметам, которые перед этим можно показать ребенку. Несчастливая привычка легко удовлетворяться словами, которых мы не понимаем, начинается гораздо раньше, чем думают. Школьник слушает в классе разглагольствование учителя точно так же, как он слушал в пеленках болтовню кормилицы. Мне кажется, что весьма полезным делом было бы такое воспитание, чтоб он ничего тут не понимал.

Мысли зарождаются роem, когда хочешь заняться формированием языка и первых речей ребенка. Но что бы там ни делали, дети учатся говорить всегда одним и тем же способом, и все философские умствования тут совершенно бесполезны.

Прежде всего, у них, так сказать, своя, соответственная возрасту, грамматика, синтаксис которой содержит правила более общие, чем наш; если внимательно всмотреться в дело, мы изумились бы точности, с какою они держатся известных аналогий, очень ошибочных, если хотите, но очень последовательных, которые не правятся нам

только по своей резкости или потому, что обычай не допускает их. Я недавно слышал, как один отец разбил ребенка за то, что он сказал: *Mon père, îgai-je-t-u?* А ребенок этот, как видно, лучше придерживался аналогии, чем наши знатоки грамматики: если ему говорили: *Va-s-u*, то почему же он не может сказать: *Igai-je-t-u?* Заметьте, кроме того, с какою ловкостью он избегал зычания, которое оказалось бы в выражениях: *îgai-je-u* или *u îgai-je*. Виноват ли бедный ребенок, если мы совсем некстати выбросили из фразы определенное наречие «у», потому что не умели с ним сладить<sup>35</sup>? Невыносимым педантством и совершенно излишнею заботой является старание наше исправлять у детей все эти мелкие отступления от обычая — ошибки, от которых они со временем не преминут отвыкнуть и сами собой. Говорите всегда правильно в присутствии их; старайтесь, чтобы ни с кем им не было так приятно оставаться, как с вами, и будьте уверены, что язык их незаметно очистится под влиянием вашего, хотя бы вы никогда не укоряли их за ошибки.

Злоупотреблением совершенно иного рода — хотя его не менее легко предотвратить — является то обстоятельство, что слишком торопятся заставить детей говорить, точно боятся, что сами собой они не научатся говорить. Эта безрассудная поспешность производит действие, прямо противоположное тому, которого ожидают. Они научаются говорить слишком поздно, слишком неотчетливо: чрезвычайное внимание, с которым встречают каждое их слово, избавляет их от труда хорошо расчленять звуки; и так как они едва удаивают открывать свой рот, то у многих из них на всю жизнь остается слабое произношение и неясный выговор, так что их почти не понимаешь.

Я много жил между крестьянами и никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из них — мужчина, женщина, девочка или мальчик — когда-нибудь картавил. Отчего это происходит? Неужели органы у крестьян иначе устроены, чем у нас? Нет, но их иначе упражняли. Против моего окна есть холмик, на котором собираются для игры окрестные ребята. Хотя они довольно далеко от меня, но я отлично различаю все, что они говорят, и часто из этого извлекаю хорошие заметки для этого сочинения. Каждый день ухо мое обманывает меня относительно их возраста; я слышу голоса десятилетних детей — оглядываюсь и вижу, что по росту и чертам лица это дети 3—4 лет. Я проделываю этот опыт не исключительно над собой: городские жители, которые приходят меня навестить и которых я спрашиваю об этом же, впадают всегда в ту же ошибку.

Происходит эта разница оттого, что городским детям, которые до 5 или 6 лет воспитываются в комнате и под крылом гувернантки,

стоит лишь пробормотать — и их поймут; едва они станут шевелить губами, как их стараются слушать; им подсказывают слова, которые они плохо передают; а так как их окружают постоянно одни и те же люди, то благодаря постоянному вниманию последние угадывают то скорее, что те хотели сказать, чем то, что сказали.

В деревне — совершенно другое дело. Крестьянка не торчит постоянно возле своего ребенка; он принужден научиться очень ясно и очень громко выговаривать то, что ему нужно сказать. В поле дети, рассеявшись и удалившись от отца, матери и других детей, приучаются так говорить, чтобы слышно было на расстоянии, и силу голоса соразмерять с пространством, отделяющим их от того, к кому они обращаются с речью. Вот каким образом действительно научаются произношению, а не уменьем пробормотать несколько гласных на ухо внимательной гувернантке. Таким образом, когда к крестьянскому ребенку обращаются с вопросом, стыд может помешать ему ответить, но что он скажет, то скажет ясно, тогда как для городского ребенка нянька должна служить переводчиком, а иначе мы ничего не поймем из того, что он цедит сквозь зубы \*.

Подрастая, мальчики должны бы исправиться от этого недостатка в коллежах, а девочки — в монастырях; действительно, те и другие в общем говорят отчетливее, чем те, которые все время воспитывались в отцовском доме. Но приобрести произношение столь же ясное, как у крестьян, мешает им необходимость заучивать много вещей наизусть и потом громко читать выученное; ибо, заучивая урок, они привыкают бормотать, произносить небрежно и дурно; когда же они громко отвечают урок, бывает еще хуже: они с усилиями подыскивают слова, тянут и удлиняют слоги; невозможно, чтобы язык не запинаясь, когда память хромает. Таким-то образом приобретаются или сохраняются недостатки произношения. Ниже мы увидим, что у моего Эмиля не будет этих недостатков — или по крайней мере если он приобретет их, то не по этим причинам.

Я согласен, что простой народ и поселяне впадают в другую крайность, что они говорят почти всегда громче, чем нужно, что, произнося слишком точно, они сильно и грубо расчленяют слова, делают слишком сильные ударения, плохо подбирают выражения и т. д.

\* Явление это не без исключений; и часто дети, которых сначала меньше всего было слышно, делаются самыми оглушительными, когда начнут возвышать голос. Но если бы требовалось входить во все эти мелочи, я никогда не кончил бы; всякий рассудительный человек должен видеть, что излишек и недостаток, происшедшие от одного и того же злоупотребления, одинаково исправляются моей методой. Я считаю нераздельным оба эти правила: «всегда умеренно» и «никогда в излишке». Раз хорошо установлено первое, из него необходимо вытекает и второе.

Но, прежде всего, эта крайность кажется мне гораздо менее порочною, чем противоположная: так как вразумительность — первый закон речи, то говорить так, что другие не понимают, значит делать самую большую, какая только может быть, ошибку. Хвалиться отсутствием ударений — значит хвалиться тем, что отнимаешь у фразы грацию и энергию. Ударение — душа речи, оно придает ей чувство и истинность. Ударение менее лжет, чем слово; поэтому-то, быть может, люди благовоспитанные так и боятся его. Обычай трунить над людьми, так чтоб они этого не замечали, происходит именно от привычки все говорить одним тоном. Место изгнанного ударения унаследовала смешная, искусственная, подверженная капризам моды манера произношения — та, которую особенно мы замечаем у придворной молодежи. Эта манерность речи и обхождения и делает, вообще говоря, первую встречу с французом отталкивающей и неприятною для других наций. Вместо того чтобы придать своей речи ударение, он прибегает к изысканности тона. Это — плохое средство расположить других в свою пользу.

Все те мелкие недостатки языка, к которым так боятся приучить детей, совершенно ничтожны: их очень легко предупредить или исправить; но недостатки, которыми наделяют детей, делая выговор их глухим, невнятным, робким, беспрерывно критикуя их интонацию, выискивая в каждом слове ошибки, — эти недостатки никогда не исправляются. Человека, который учился говорить лишь в проходах у кровати, не будет слышно во главе батальона; он не произведет почти действия на народ, среди волнения. Научите прежде всего детей говорить с мужчинами: они сумеют хорошо говорить и с женщинами, когда будет нужно.

Вскормленные в деревне, во всей сельской простоте, дети наши приобретут там более звучный голос; они не приучатся к невнятному лепету городских детей; они не переймут там также ни деревенских выражений, ни деревенского тона или по крайней мере легко потом отвыкнут от них, если наставник, с самого рождения их живущий вместе с ними и притом со дня на день все более и более тесною жизнью, станет правильностью своей речи предупреждать или сглаживать влияния крестьянской речи. Эмиль станет говорить по-французски так же чисто, как только умею я, но он станет говорить отчетливее меня и гораздо лучше выделять звуки.

Ребенок, начинающий говорить, должен слышать только такие слова, которые может понять, и произносить только такие, которые может выговаривать членораздельно. Усилия, им употребляемые для этого, ведут к тому, что он повторяет один и тот же слог — как бы для того, чтобы научиться более отчетливо произносить его. Если

он начинает бормотать, не мучьтесь так сильно над угадыванием того, что он говорит. Претензия на то, чтобы всегда быть выслушиваемым, есть тоже род власти, а ребенок не должен пользоваться властью. Пусть довольно будет и того, что вы очень внимательно печетесь о необходимом; а это уж его дело стараться втолковать вам то, что ему не очень необходимо. Тем более не следует ребенка торопить, чтоб он говорил; он и сам хорошо научится говорить по мере того, как будет чувствовать полезность этого.

Замечают, правда, что дети, начинающие говорить слишком поздно, никогда не говорят так отчетливо, как прочие; но их орган не потому остается неуклюжим, что они поздно заговорили; напротив, они потому и начинают говорить поздно, что родились с неуклюжим органом; а иначе почему же они стали бы говорить позже других? Разве им реже приходится говорить? Разве их меньше побуждают к этому? Напротив, беспокойство, причиняемое этим замедлением с той минуты, как его заметят, ведет к тому, что их гораздо настойчивее заставляют лепетать, нежели тех, которые членораздельно заговорили с ранних пор; и эта бестолковая поспешность может много содействовать невинности их выговора, тогда как, при меньшей стремительности, они имели бы время более его усовершенствовать.

Детям, которых слишком торопят говорить, нет времени ни научиться хорошему произношению, ни хорошо постичь то, что заставляют их говорить, тогда как, если им предоставляют идти самостоятельно, они сначала упражняются над такими слогами, которые легче всего произносить, и, мало-помалу придавая им то или иное значение, которое можно понять по их жестам, представляют вам свои собственные слова, прежде чем заимствовать ваши. Вследствие этого они заимствуют слова не иначе, как хорошо поняв их. Так как их не торопят пользоваться словами, то они прежде всего внимательно наблюдают, какой вы придаете им смысл, и когда уверятся, то заимствуют их.

Самое большое зло, происходящее от той стремительности, с которою учат говорить прежде времени детей, заключается не в том, что первые речи, которые держат к ним, и первые слова, произносимые ими, не имеют для них никакого смысла, но в том, что эти речи и слова имеют у них иной смысл, не тот, какой мы придаем, а мы не умеем этого и подметить; таким образом, давая нам, по-видимому, точные ответы, они говорят, не понимая нас и оставаясь непонятыми с нашей стороны. Подобными недоразумениями объясняется обыкновенно и то изумление, в которое повергают иногда нас детские речи, когда мы приписываем им такие идеи, которых сами дети не соединяли с ними. Это невнимание с нашей стороны к настоящему смыслу,

какой придают дети словам, и кажется мне причиной первых их заблуждений; а заблуждения эти, даже если будут исправлены, оказывают влияние на склад их ума в остальную часть жизни. Я буду не раз иметь впоследствии случай разъяснить это примерами.

Итак, ограничивайте как можно больше словарь ребенка. Это очень большое неудобство, если у него больше слов, чем идей, и если он умеет наговорить больше, чем может обдумать. Одною из причин, почему ум крестьян вообще более точен, чем ум городских жителей, я считаю то обстоятельство, что словарь их не так обширен. У них мало идей, но они отлично их сопоставляют.

Первое развитие детства подвигается почти со всех сторон разом. Ребенок почти одновременно учится и говорить, и есть, и ходить. Здесь собственно начинается первая эпоха его жизни. До этих пор он остается почти тем же, чем был во чреве матери; он не имеет ни одного чувствования, ни одной идеи, у него едва есть ощущения; он не чувствует даже своего собственного бытия.

*Vivit, et est vitæ nescius ipse suæ* \*<sup>36</sup>.

---

\* Ovid[ius]. Trist[ia], I, 3.

протест против схоластики в обучении, против бессмысленного изучения древних языков.

Однако между взглядами Руссо и Локка было и существенное различие. Оно обусловлено разными мировоззренческими позициями. В отличие от Локка, Руссо разрабатывал демократическую программу воспитания. По-разному осмыслили Локк и Руссо сущность воспитания и обучения. Локк полагал, что чувства, способности, знания — результат практического опыта воспитанника. Руссо в воспитании исходил из природного начала и не мог принять практицизма и рационализма Локка.

5. Свидетельством справедливости упрека Руссо в адрес современников («Детства не знают») являются художественные произведения конца XVIII в. Писатели чрезвычайно редко касались тем детства. Скульпторы и живописцы в своих произведениях представляли детей уменьшенными копиями взрослых.

Руссо открыл детство для современников и потомков.

## К н и г а I

Первая книга «Эмиля» охватывает период с момента рождения ребенка до освоения им речи.

1. *Де Формей Самуэль* (1711—1797) — французский протестантский писатель. Известен как один из авторов «Энциклопедии». В числе сочинений Формея — «Трактат о нравственном воспитании» (1765). Формея оказался одним из инициаторов кампании насмешек и клеветы в адрес «Эмиля». Пытаясь принизить труд Руссо, Формея издал в 1763 г. в Берлине «Анти-Эмиля», где обвинил автора педагогического романа в плагиате. Вслед за Формеем в этом же стали обвинять Руссо и другие, особенно его современник монах Кажо. Последним из таких хулителей оказался Сент-Бев.

Все примечания, где упоминается Формея, сделаны Руссо при переиздании романа.

2. Мысль о «трех воспитаниях» («природном, разумном и полезном») высказывал уже Плутарх, произведения которого Руссо хорошо знал (см.: *Плутарх. О воспитании детей*, гл. IV).
3. Перефразирована строка из трагедии Вольтера «Магомет»: «Натура в моих глазах нечто иное, как привычка». Идет от формулы Аристотеля «Более всего нас устраивает природное состояние, поэтому надо сделать привычки нашей второй натурой».
4. Имеется в виду рассказ о римском политическом деятеле Марке Атилии *Регуле* (II в. до н. э.). Регул был взят в плен и направлен карфагенянами в Рим, чтобы склонить римлян к миру. Прибыв в Рим, Регул отказался

- говорить в сенате, сославшись на то, что, став пленником, он лишился прав римского гражданина.
5. Эпизод из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Руссо с восьми лет наизусть знал произведения древнегреческого историка. В описываемой Плутархом древней Спарте Руссо усматривал образцы нравственного, патриотического воспитания.
  6. См.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Ликург*, 25.
  7. Древнегреческий философ Платон (427—347 до н. э.) излагает в трактате «Государство» свою систему общественного воспитания. С 3 лет дети (имеются в виду дети свободных граждан, а не рабов) должны посещать созданные при храмах детские площадки, с 7 до 12 — учиться чтению, письму, счету, музыке в государственных заведениях, с 13 до 15 — посещать школы физического воспитания. Юношам с 16 до 18 лет надлежало изучать в целях военного образования математику и астрономию, с 18 до 20 — проходить воинскую подготовку. Наиболее одаренные мужчины в возрасте 30—35 лет могли получать философское образование.
  8. *Ликург* (IX—VIII вв. до н. э.) — легендарный спартанский законодатель, которому приписывают, в частности, введение суровых методов воспитания детей. Как пишет Плутарх, Ликург видел в воспитании «самое важное и самое прекрасное дело законодателя» (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Ликург*, 14).
  9. «Овладел я тобою, судьба, и тебя полонил; все выходы твои преградил я, чтобы ты не могла добраться до меня» (*лат.*) — Руссо цитирует Цицерона по Монтеню (см.: *Монтень. Опыты*, II, 2). Слова принадлежат Метродору Хиосскому (330—278 до н. э.), древнегреческому философу — ученику Эпикура.
  10. «Принимает повитуха, вскармливает кормилица, наставляет воспитатель, учит учитель» (*лат.*) (*Ноний. Лексикон*). Трактат Марцелла Нония (III в.) — римского грамматика представляет не только филологический, но и исторический интерес, поскольку содержит высказывания авторов, труды которых утеряны. В данном случае Ноний цитировал римского философа-эклектика Марка Теренция Варрона Реактинского (116—27 до н. э.).
  11. См.: *Локк Д. Мысли о воспитании*, § 5.
  12. Автор «Естественной истории» в 35 томах французский ученый *Жорж-Луи Леклерк Бюффон* (1708—1787) известен своими прогрессивными взглядами, за что подвергался гонениям церковников.
  13. То есть в пузыре в материнском чреве.
  14. По древнегреческой мифологии, богиня Фетида окунула своего сына Ахилла в воды Стикса, реки — обиталища душ умерших.
  15. См.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Катон*,

34. Речь идет о римском политическом деятеле Марке Катоне Старшем (234—149 до н. э.).
16. См.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей, кн. II, § 64. Транквила Гай Светоний (ок. 70—160 н. э.) — римский историк.
17. Имеется в виду римский император Август Октавиан (63—14 до н. э.).
18. Намек на слова древнегреческого философа Аристиппа (V в. до н. э.), который на вопрос, какую плату он возьмет за воспитание юноши, ответил: «Тысячу драхм», а когда ему возразили, что цена слишком велика и за такие деньги можно купить раба, добавил: «Купи и будешь иметь двух» (см.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, II, 72).
19. Древнегреческий историк, философ Ксенофонт (ок. 430—355 или 354 до н. э.) после участия в походах персидского царя Кира Младшего записал сведения о воспитании персов в своем труде «Киропедия».
20. Лапландией называли в XVIII в. территории Кольского и части Скандинавского полуостровов.
21. Бенин — территория в Западной Африке.
22. Эти суждения Руссо напоминают высказывания Бюффона (см. примеч. 12) и Кондильяка (1715—1780) — французского философа-просветителя. Но, в отличие от этих ученых, Руссо интерпретировал связи человека и природы диалектически, полагая, что они приводят не только к количественным, но и качественным изменениям в человеческой личности.
23. Мекониум (лат.).
24. Кокки Антонио — врач из Флоренции (1695—1758), Бианки Джованни — итальянский естествоиспытатель (1693—1775).
25. См.: Локк Д. Мысли о воспитании, § 7, 18.
26. Здесь в оригинале слово *berceau* (люлька).
27. Ла Лубер, автор книги «Путешествие в Сиам» (1691) и Ле Бо, автор «Путешествия по Канаде» (1738) — французские коммерсанты и путешественники. В книге Ле Бо рассказывается, как североамериканские индейцы закалывали своих детей.
28. Имеется в виду античный миф о рождении богини Паллады из головы бога Юпитера.
29. См.: Гомер. Илиада. Песнь 6, 465—470.
30. Бургав Герман (1668—1738) — голландский врач, профессор Лейденского университета, в трактате «О детских болезнях» указывал, что новорожденный обладает подвижной индивидуальной нервной системой. Трактат был переведен на французский язык в 1759 г.
31. Аббат Сен-Пьер (1658—1743) — французский философ и писатель, автор ряда сочинений, в том числе по вопросам воспитания: «Проект улучшения воспитания» (1728), «Преимущества воспитания в коллежах над домашним воспитанием» (1740). Де Сен-Пьер ставил

вопросы нравственного воспитания в связи с задачами общественного формирования личности, настаивал на расширении естественнонаучного образования и сокращении преподавания древних языков.

Руссо знал лично Сен-Пьера, намеревался даже подготовить к изданию его труды.

32. Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ-материалист. Основные сочинения Гоббса — «Левинафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651), трилогия «О теле», написанная на латинском языке и состоящая из трех частей: «О теле», «О гражданине», «О человеке».

Гоббсу принадлежит теория возникновения государства на основе общественного договора из естественных догосударственных состояний, когда люди жили разобщенно и во взаимной вражде. Гоббс выдвигал принцип изначального равенства людей.

Труды Гоббса оказали влияние на философские и педагогические взгляды Руссо. В итоге, однако, Руссо пришел к противоположному пониманию сущности человека, чем Гоббс. Автор «Эмиля» считал нравственные качества человека присущими ему от рождения и оцепивал их как добрые по сути. Гоббс же считал, что добродетели и пороки прививаются человеку окружающей средой.

33. Так назывался инструмент для обработки металла.  
 34. Сухое печенье (*итал.*).  
 35. Во французском языке в формах *ira-t-il*, *va-s-y t* и *s* являются остатками прежних личных окончаний третьего и второго лица. Вставка *t* в форме первого лица *ira-je-t-y*, следовательно, не может быть оправдана аналогией. Ребенок сохраняет в форме первого лица букву *y*, которую для благозвучия обычно здесь опускают.  
 36. «Живет и сам не знает, что живет» (*лат.*) (*Овидий. Скорби, I, 3*).

## К н и г а II

Вторая книга «Эмиля» охватывает период детства до 12 лет (с момента освоения ребенком речи).

Руссо испровергает бытовавшие представления о ребенке и детстве. Так, Д. Локк считал дитя *tabula rasa* (чистой доской), французский энциклопедист Морелле — «существом без индивидуальности».

Руссо провозгласил право детей на уважение. Для Эмиля предлагалась программа «прогрессивного, естественного, отрицательного» воспитания. «Прогрессивное» воспитание означало следование в воспитании этапам развития ребенка, не ускоряя насильственно процесса его формирования. Должны быть учтены по-